

В. НЕКРАСОВ



МАЛЕНЬКАЯ
ПЕЧАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ

опі

МАЛЕНЬКАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Viktor Nekrasov

**A STORY
SHORT AND SAD**

With an introduction
by Mikhail Heller

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1986**

Виктор Некрасов

**МАЛЕНЬКАЯ
ПЕЧАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ**

Вступительная статья
Михаила Геллера

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1986**

**Viktor Nekrasov: MALEN'KAIA PECHALNAIA POVEST'.
With an introduction by Mikhail Heller**

**First Russian edition published in 1986
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England**

**Copyright © Viktor Nekrasov, 1986
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1986**

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.**

ISBN 0 903868 69 5

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed in West Germany

УСЛОВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

В Польше рассказывают такую историю. Маленькая девочка, придя из школы, сказала маме: нам велели написать дома сочинение на тему „Почему я люблю Советский Союз?“ Какой ужас, – воскликнула мама. – Как можно любить Советский Союз? Это оттуда пришел к нам коммунистический режим. Рассердился и папа: это из-за них мы так плохо живем, это они во всем виноваты... С одинаковым возмущением отнеслись к теме домашнего сочинения все знакомые и друзья родителей. Тогда девочка села за стол и написала: Я люблю Советский Союз потому, что никто его не любит.

Я вспомнил эту историю, когда прочитал у Виктора Некрасова: „Спасибо партии и правительству за этот подарок. Париж они мне подарили“. Это говорит двойник писателя в книге, названной смешно и загадочно: „Саперлипопет, или если бы да кабы, да во рту росли грибы“.

Очередная книга Виктора Некрасова – „Маленькая печальная повесть“ – была закончена в десятую годовщину начала новой жизни. И может быть, с этого и следует начать

„юбилейный баланс”. Говорят по-разному: отъезд на чужбину, эмиграция, изгнание, высылка... Для Виктора Некрасова 12 сентября 1974 года, когда он, сев в самолет в Борисполе, приземлился через три часа в Цюрихе, стал днем нового рождения. Было ему тогда 64 года. Вспоминая десять лет спустя, писатель в присущем ему лаконичном, отмечающем все лишнее стиле подбивает итог: „Да, благословляю тот день. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень”.

Немногие из писателей, оставивших позади себя стену советской границы, повторяют за Виктором Некрасовым: да, благословляю тот день. Потому, что несогласны с ним, потому, что не принято так говорить, потому, что у них нет оснований радоваться. Минувшие десять лет, книги, написанные за эти годы, были для Некрасова временем творческого расцвета.

Размышления о писателе, не живущем на родине, не могут не начинаться с вопроса: почему он не живет, не пишет у себя дома? Причины эмиграции 70-х гг. еще ждут исследования. О них много писали, было дано немало объяснений. Можно согласиться с тем, что каждый эмигрант имел собственную причину. Несомненно, существуют и общие для всех силовые линии, вдоль которых укладываются самые различные, самые индивидуальные поводы.

Особое, уникальное положение советского писателя в советской системе, где ему отведено место в высокой касте жрецов, придает его решению о выезде трагический характер: кроме всего прочего, что теряет человек, отправляющийся в эмиграцию, писатель теряет еще и читателя. Тем не менее, значительное число советских писателей в 70-е годы сделали выбор: уехали.

Всех выехавших, оставляя, естественно, в стороне личные, особые причины, можно разделить на две группы: писатели, которые выбрали отъезд, ибо советская власть их разлюбила, писатели, которые решили уехать, ибо они разлюбили советскую власть.

Среди любимчиков советской власти Виктор Некрасов был одним из самых любимых. „В окопах Сталинграда”, одобренные „лично товарищем Сталиным”, не только издавались огромными тиражами, изучались в школе — книгу по-настоящему любил читатель. Более того: она до сих пор остается лучшей книгой о войне, написанной современником. Писатель также не был равнодушен к благодетелям. Со свойственной ему беспощадной правдивостью он вспоминает в „Саперлипопете”: „Да, сидел за одним столом. С шулерами за одним столом. И хлебал из их же миски... Потом, встав из-за стола и утерев губы, шел в „Новый мир”, неся под мышкой свой „Родной город”, где Митясов вовсе не бил по морде декана Чекменя, а в „Кире Георгиевне” бывший ее муж, Вадим, ни в каких лагерях не сидел, просто работал где-то на крайнем Севере...” Все было у Виктора Некрасова — слава, деньги, собутыльники и друзья. Он отказался от всего в один прекрасный (как его назвать?) день. Резко и навсегда разлюбил советскую власть. Виктор Некрасов рассказал, как это произошло. Читая его книги, написанные уже в эмиграции, мы понимаем, почему это произошло.

Джордж Орвелл вывел формулу магического кольца, из которого вырваться необыкновенно трудно: „Пока их сознание не проснется, они не восстанут, но раньше, чем они не восстанут, их сознание не может проснуться”. Разрыв кольца особенно тяжело дается писателям, деятелям советской культуры, ибо они активно участвуют в отковке цепей, из которых кольцо сплетено. Орвелл был великим писателем, составившим анатомический атлас тоталитарной системы. Но как всегда реальность оставляет далеко позади писательскую фантазию. Иллюстрируя неограниченные возможности новоречи, Орвелл приводит примеры лозунгов: Война — это мир; Свобода — это рабство; Невежество — это сила. Каждый советский человек может составить длинный список подобных изречений. Мне кажется, тем не менее, что, если бы объявить конкурс на лозунг-модель, выражающий суть тоталитарного мира и новоречи, первое место бесспорно займет текст, сочиненный геббельсовскими подручными. В кон-

це войны в Германии исчезло также и мыло. В Советском Союзе, где его не было почти с самого начала войны, исхитрялись по-разному, а чаще — не мылись. Немцам, исконно приученным к чистоте, было сложнее. И Геббельс решил проблему. Газеты, радио, плакаты стали вбивать в немецкие головы лозунг: *Dreck ist nicht gefährlich*, — дерьмо не опасно.

Гениальность этого лозунга не только в том, что он прекрасно заменяет мыло. Он открывает возможность продолжения и развития: второй этап — дерьмо полезно! Геббельсовский лозунг хорош, наконец, тем, что, в замечательно сжатой и выразительной форме, излагает историю советской культуры вообще, советской литературы, в частности. Поверив в безвредность дерьма, легко убедить сначала себя, а потом и читателей, в его пользе и абсолютной необходимости.

Первый вопрос: почему писатель уехал? Второй вопрос: пишет ли он в эмиграции? Прочно держится миф, усиленно питаемый соответствующими инстанциями, что русский писатель, покинувший родную почву, погибает, как тропический цветок, пересаженный в вечную мерзлоту. Никакие доказательства, никакие примеры, ссылки на имена писателей и названия книг — не помогают: русский писатель обязан сидеть на месте и писать то, что надо. Знаменитая мысль незабвенного Никиты — „человек не клоп, чтобы туда-сюда ползать” — остается не только административной директивой, но и философской базой советских идеологов.

Виктор Некрасов — в эмиграции пишет. Пишет столько, сколько хочет, а главное — то, что хочет. Названия двух его первых книг, вышедших на Западе, определяют, как мне кажется, то, что выделяет Некрасова в сегодняшней русской литературе. Первая называлась — „Записки зеваки”. Вторая — „Взгляд и нечто”. Писатель подчеркивал: он смотрит. Он — прежде всего — хочет видеть, видеть мир. Желательно — весь мир, все страны, все континенты, всех людей. Если я не ошибаюсь, нет другого русского писателя в эмиграции, который успел бы столько увидеть после своего отъезда из дому, побывать в стольких странах. Но если даже и есть кто-либо так много ездивший по свету, то безусловно, нет нико-

го, кто путешествовал бы с таким удовольствием. Книги Виктора Некрасова — лучшее тому доказательство. Австралия и Испания, Гавайи и маленький французский городок Колюр, Япония и Норвегия и, конечно, столица мира — Париж, — Некрасову все бесконечно интересно: как люди живут, что они едят и пьют, как они одеваются и ходят по улицам. Он — чужой среди них — чувствует себя им близким, они ему понятны даже в своей непонятности и чуждости: он — человек среди людей. Часто, как же иначе, он вспомнит: почему у нас этого нет, как жалко, что мы этого не знаем, как обидно, как больно. Но никогда не чувствуется в его описаниях, в его взгляде „советской гордости” или советских неистребимых комплексов.

Читая Виктора Некрасова, восхищаясь его доброжелательностью к людям, его неисчерпаемой любознательностью, подлинным интересом ко всему, понимаешь: он — свободный человек. И поэтому — хороший писатель. Такая причинная связь может показаться странной по отношению к писателю: по отношению к советскому писателю она кажется мне предельно логичной. В романе Василия Шукшина Степан Разин объясняет своему брату Фролу: „Ты, Фрол, — раб... Ты еще на руках у матери сидел, а уже был маленький раб. И рабские у тебя мысли, хотя они кажутся верными. Они — верные, но они рабские. А других ты не знаешь”.

Виктор Некрасов знает. Роман Шукшина называется: „Я пришел дать вам волю”. Некрасов сам взял себе волю. В „Саперлипопете”, реалистической и фантастической повести, которая принадлежит к лучшему из написанного автором „Окопов”, Некрасов рассказывает о „путях, которые мы выбираем”. Его выход к свободе был предопределен: рождением, воспитанием, семьей, прочитанными книгами. Из детства будущий писатель вынес запас чувств, которые не дали угаснуть сознанию, не дали ему утонуть в потоке советского воспитания, а позднее — славы, денег, орденов и медалей. Виктор Некрасов оказался памятьливым учеником „факультета ненужных вещей”, как назвал подлинные человеческие чувства Юрий Домбровский.

Иван Бабичев, отрицательный герой „Зависти”, убедившись, что „эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души”, организует заговор чувств, обреченных на уничтожение. В числе чувств, „из которых состояла душа человека кончающейся эры” и которые приговорены к гибели: жалость, нежность, гордость, ревность, любовь...

Все эти чувства мы находим в „Маленькой печальной повести”. И есть в ней еще одно, забытое в каталоге Ивана Бабичева: дружба. „Выяснилось, — пишет Виктор Некрасов, — что самое важное в жизни — это друзья... Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья...” Дружба — становится условием человеческого существования. Свобода — это возможность свободно передвигаться по свету, свободно писать, свободно выбирать друзей. Не любящий писать о политике, Виктор Некрасов заканчивает повесть, обращаясь прямо к читателю: „Может быть самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей”. Он объясняет, что повесть его печальна, ибо — это рассказ об умирании дружбы, лучшего из человеческих чувств.

„Был бы я товарищ верный, да была бы совесть спокойная. Да был бы я — вольный. Вот и все”. Этот символ веры Степана Разина из романа Шукшина повторяет Виктор Некрасов в своих книгах. Все написанное им в эмиграции — это письма друзьям „по обе стороны Стены”, письма о свободном мире...

Виктор Некрасов занимает в русской литературе особое место: он заведует кафедрой дружбы и свободы на „факультете ненужных вещей”. Древние римляне говорили: пока дышу — надеюсь. Виктор Некрасов пишет нам письма, в которых не перестает повторять: пока дружу — надеюсь. И попадает в разряд „государственных преступников”, ибо там, где нет свободы, — дружба становится посягательством на безопасность государства.

Михаил Геллер

Маленькая печальная повесть

1

— Нет, ребята, Канада, конечно, не ахти что, но все же...

Ашот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, означавший, что Канада как-никак капиталистическая страна, в которой, кроме сверхприбылей и безработных, есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы, ну и, что ни говори, Клондайк, — нельзя о нем забывать, — река Святого Лаврентия и трапперы, авось еще сохранились.

Его поняли, но не согласились. Предпочтение отдавалось Европе и, конечно, Парижу.

— Ну что вы со своим Парижем! Подавай им Париж. Париж это завершение. А Канада — разминка. Проба сил. Проверка на прочность. С такой Канады и надо начинать.

Было уже три часа ночи, вещи не собраны, а самолет в восемь утра, то есть, в шесть надо уже быть в театре. И не очень пьяным.

— Отставить, Саша, сухой чай — ерунда, попробуй мою травку тибетскую или бурят-монгольскую, черт его знает, отбивает начисто.

Сашка пососал травку.

— А ну дыхни.

Дыхнул.

— Сказка. Чистый ландыш...

Заговорили о Тибете. Роман когда-то был с гастролями в тех краях, откуда ее, травку, и знаменитое мумие привез. У бывших лам достал.

Пить начали сразу после спектакля, он кончился рано, до одиннадцати. Ашот заранее запасся водкой, пивом, мать приготовила винегрет, где-то достали экспортные сардинки. Пили у Романа — с женой он разошелся, жил холостяком.

Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был, просто в приподнятом настроении — Сашку впервые включили в заграничную поездку.

— Хватит о Тибете, Бог с ней, с крышей мира, — Ашот перебил склонного к экзотическим подробностям Романа и разлил остатки водки. — Посошок! Потом опять пососешь. Так вот, главное, не заводись. Не увлекайся вином и женщинами. Не потому, что шпионки...

— Ох, Аркадий, не говори красиво. Сами все знаем, — Сашка поднял свой стакан. — Пошли. За дружбу! Народов и развивающихся стран!

— Бхай-бхай!

Выпили. Доели винегрет. Сашка опять принялся разминать свои икры. Было жарко, и все сидели в трусах.

— Да что ты все их массируешь, — не утерпел Ашот и тут же кольнул: — Длиннее не станут.

— У Нижинского тоже были короткие ноги, — парировал за Сашку Роман, он знал все обо всех. — Кстати, знаете, как он объяснял, почему у него такой феноменальный прыжок? Очень просто, говорит, подпрыгиваю и на минуту задерживаюсь в воздухе, вот и все...

— Ладно, — перебил Сашка, — надо двигать. Натягиваем портки.

Стали одеваться.

— Вам сколько валюты дали? — спросил Роман.

— Нисколько. На месте, сказали, дадут. Гроши, о чем говорить.

— Забери сардины, пригодятся.

— И заберу, — Сашка сунул две плоскенькие, нераскупоренные коробочки в карман. — Сволочь! — Это относилось уже к советской власти.

Его поддержали, каждый добавил свой эпитет в адрес любимой.

— А Анриэтт я все же позвоню, хочешь ты или не хочешь, — сказал Ашот. — Лишние башли никогда не помешают. На каком аэродроме у вас посадка?

— На Орли, сказали...

— Вот и разыщет тебя на Орли.

— Первый козырь для этой бляди Кривулина.

— А ты держись независимо. Это главное, они моментально теряются. Думают, что за спиной кто-то есть.

Анриэтт стажировала в ленинградском университете. Сейчас была в отпуску. Ашот собирался на ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без всякой задней мысли.

— Тебя поймешь, — ворчал Сашка. — То не зарывайся, то иностранку советскому гражданину подсовываешь.

— Все равно позвоню.

— Ну и мудило.

На этом дискуссия закончилась. Вышли на улицу, было уже совсем светло. Начинались белые ночи. Зори по всем астрономическим законам спешили сменить друг друга, дав ночи не более часа. По набережным лепились парочки. На Литейном мосту Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, продекламировал ужасно громко:

— Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, гордый вид...

— Не гордый, а стройный, — поправил Ромка. — Надо все же...

— Надо, надо, знаю... Кстати, вас, гадов, тоже люблю! — Сашка обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе.

— Ну, что поделаешь, люблю и все...

— А мы? — Ашот глянул на Ромку, высвобождаясь из объятий.

— Просто завидуем, элементарно завидуем...

— Теперь принято говорить — „по-хорошему” завидуете. Ладно, так и быть, привезу по паре джинсов.

— Поц! Глоток свободы привези. И „Лолиту” не забудь.

Ашот бредил Набоковым, хотя кроме „Дара” ничего не читал. За одну ночь прочел все четыреста страниц.

Сашка чмокнул обоих в шершавые подбородки.

— Любовью брата, любовью брата! — запел он.

— В баню!

— Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу тебе „Лолиту”, не волнуйся. Рискуя всем.

Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклянчила у Коровиных — он часто бывает за границей — роскошный чемодан на молниях, чтоб Сашка не срамился, и аккуратненько все уложила. Пиджак тоже достала заграничный, с золотыми пуговицами. Сашка померил, на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидело.

— Ну, а это зачем? — он выгудил из чемодана свитер. — Лето же...

— Лето летом, а Канада Канадой, — мама перехватила свитер и опять сунула в чемодан. — Та же Сибирь...

— Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна, — пояснил Роман. — Климат-то континентальный.

Тем не менее свитер остался в чемодане. Сашка махнул рукой, была уже половина шестого.

Мама сказала:

— Ну, что ж, сели перед дорогой?

Присели кто на чем, Сашка — на чемодан.

— Ну?.. — он обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила.

— В Канаде, говорят, много украинцев, — ни с того ни с сего сказала она, очевидно, чтоб скрыть волнение. — Больше, чем в Киеве...

— Возможно... — Сашка подошел к письменному столу,

вынул из-под толстого стекла фотографию, где они втроем, и сунул в боковой карман пиджака.

– Взгляну где-нибудь в Виннипеге и разрыдаюсь... Пошли. В театре уже волновались.

– Небось пьянствовали всю ночь, Куницын? – подозрительно приглядываясь, сказал парторг Зуев. – Знаю я вас.

– Упаси Бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь зубрил про Канаду. Кто премьер-министр, сколько жителей, сколько безработных...

– Ох, не острил бы уж, – Зуев был помрежем и ненавидел всех артистов. – В кабинет директора бегом, все уже собрались.

– Бегом так бегом, – Сашка повернулся к ребятам. – Ну смотрите без меня тут... Подставляйте уста.

Они ткнулись носами, похлопали друг друга по спинам.

– Привет Трюдо, – сказал Ромка.

– И Владимир Владимировичу, – подразумевался Набоков.

– Ладно. Бывайте! – Сашка сделал пируэт и весело побегал по коридору. В конце его остановился и поднял руку, а-ля Медный всадник:

– Невы державное течение, береговой ее гранит... Так джинсов, значит, не надо?

– Иди ты...

– Иду!

И скрылся за дверью.

2

Конечно же, их прозвали Тремя мушкетерами. Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный балерун. Ашот был мелковат, но пластичен и обладал южным армянско-гасконским темпераментом. Роман тоже не удался ростом, к тому же был лопоух, зато лукав, как Арамис. Портоса среди них не было. С Атосом тоже неясно – не хватало загадочности.

По очереди каждый из них отращивал бородку и усики, но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велели сбрить, Ашоту, с буйной растительностью, надоело пробривать ежедневно усики, а у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей.

Кроме неразлучности, было еще нечто мушкетерское в их дружбе — однажды они, правда, с синяками и ссадинами, выиграли баталию с лиговским хулиганьем, что окончательно закрепило их общую кличку.

Кто-то прозвал их Кукрыниксами — Ку-приянов, Кры-лов, Ник. С-околов у тех художников, а тут — Куницын, Кры-мов, Никогосян, тоже „Ку”, „Кры”, „Ник” — но это как-то не привилось.

Все трое были молоды — до тридцати, Сашка моложе всех — двадцать три, возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят.

Все трое были лицедеями. Сашка преуспевал в Кировском, Роман на „Ленфильме”, киноактером, Ашот же то тут, то там, но больше на эстраде, в шутку его называли „Синтетическим мальчиком” — пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо. В свободное время они всегда были вместе.

Как ни странно, но пили мало. То есть, пили, конечно, без этого у нас нельзя, но на фоне повального, нарушавшего все статистические нормы, злоупотребления в стране алкоголем выглядели они скорее трезвенниками. Роман, правда, иногда загуливал, дня на три, не больше, и называл это „творческой разрядкой”.

— Нельзя же все о высоком и вечном. Надо и о земном иногда подумать. Для контраста, так сказать.

С ним не спорили, его любили и прощали даже существование жены, красивой, но глупой. Впрочем, он с ней вскоре разошелся, и это еще больше сплотило мушкетерский коллектив.

Читали книжки. Разные. Вкусы не всегда совпадали. Ашот любил длинные романы, вроде Фолкнера, „Форсайтов”, „Буденброков”, Сашка больше фантастику — Стругац-

ких, Лема, кумиром Романа был Кнут Гамсун; кроме того, делал вид, что влюблен в Пруста. Объединял же их Хемингуэй — он был тогда в моде. Ремарка начали забывать.

Но главное, что их сближало, было совсем другое. Нет, они не вдавались в дебри философии, великих там учений (одно время, недолго, правда, увлекались Фрейдом, потом йогой), советскую систему поносили не больше других (в этом вопросе некая беспечность и веселие молодости заслоняли собой большинство пакостей, не терпимых людьми постарше), и все же проклятый вопрос — как противостоять давящим на тебя со всех сторон догмам, тупости, однолинейности, — требовал какого-то ответа. Борцами и строителями нового они тоже не были, перестраивать разваливающееся здание не собирались, но пытаться найти какую-то лазейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо было. И добиться успеха. Об этом вслух не говорилось, не принято было, но отсутствием честолюбия никто из них троих не страдал.

Короче говоря, объединял их и сближал некий поиск своего пути. Пути, на котором, добившись чего-то, желательно было оставаться на высоте. Язвительный и любивший точные, краткие определения Ашот сводил все к элементарному: самое главное — не замарать собственные трусы! Лозунг был подхвачен, и хотя злые языки, переставив ударение, называли это „дипломатией трусов“, ребята нисколько не обижались, но от общественной работы отлынивали и на собрания, где кого-нибудь прорабатывали, не ходили.

Они были разными и в то же время очень похожими друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золотоволосый, кудрявый Сашка покорял всех девчонок с четырнадцати лет — не только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и вдруг вспыхивавшими глазами, но и всей своей ладностью, изяществом, умением быть обворожительным. Недруги считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином — но где вы видали красивого двадцатилетнего юнца с развитым чувством самокритики? — он, действительно, развалясь в трусах в кресле, принимал грациозные позы и

поглаживал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком-то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслуживал, о себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но если надо, был тут как тут. Когда Роман как-то свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал его и варил ему манные каши, как родная мать. Короче, он был одним из тех, о ком принято говорить „отдал бы последнюю рубаху”, хотя рубахи любил и носил только от Сен-Лорена или Кардена.

Ашот красотой и дивным сложением не отличался — он был невысок, длиннорук, излишне широкоплеч — но, когда начинал с увлечением что-то рассказывать, попыхивая своей трубочкой, или изображать, врожденная артистичность, пластика делали его вдруг красивым. Речь его, а поговорить он любил, состояла из ловкого сочетания слов и жестов, и, глядя на него, слушая его, не хотелось перебивать, как не перебивают арию в хорошем исполнении. Но он умел, кроме того, и слушать, что обыкновенно не свойственно златоустам. К тому же, никто не мог сравниться с ним как с выдумщиком, заводилой всех капустников, автором колких эпиграмм, забавных, безжалостных карикатур, оживлявших обычную унылость стенгазет. И, наконец, он и никто другой был родоначальником всех далекоидущих и далеко не всегда выполнимых планов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского производства ковбойки ни в какое сравнение не шли с Сашкиными.

Роман греческим эфебом тоже не был. Полурусских, полужеврейских кровей, он был горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже Ашота. Язвителен и остер на язык. Нет, он не был хохмачем, но остроты его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли сразить наповал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами. И его поэтому малость побаивались. На экране он был смешон, часто и трагичен. В нем было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с Бестером Китонем и всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни

странно, не Гамлет, не Сирано, не так же всеми забытый стринберговский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из „Мистерий” Гамсуна. Но кому, даже Висконти или Феллини, придет в голову экранизировать этот роман? „А я этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь”.

Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил всегда в свитерах, а что было под ними, неизвестно. Но свитеров было много, потому и расставаться не жалко.

Вот так они и жили. С утра до вечера репетиции, спектакли, съемки, концерты, а потом встречались и облегчали души, о чем-то споря или слушая битлсов, которых боготворили. Вот это да! Безвестные ливерпульские ребята, а покорили весь мир. Даже английскую королеву, которая вручила им по Ордену Подвязки или чего-то там другого. Молодцы! Настоящее искусство.

В живописи малость терялись. Дальше Пикассо не шли, да и он иногда отпугивал. Одно время увлекались Сальвадором Дали. Сашка даже повесил у себя где-то раздобытую репродукцию знаменитого слона, шагающего на длинных, тонких ножках.

Были в их жизни и женщины, но их держали в стороне, в коллектив допускались только в исключительных случаях — праздники, дни рождения. У Ашота была его французская Анриэтт, до этого жена, с которой, по не ведомым никому причинам, разошелся уже давно. Роман, слава Богу, недавно. Сашка был убежденным холостяком. И, если сходиллся с девчонками, то не надолго. Постоянной у него не было.

Мамы друзей любили. Сашкина, Вера Павловна, работала в библиотеке Дома Красной Армии, Ашотова, Рануш Акоповна, — бухгалтером на радио. Доходов особых это не приносило, жили скромно, в основном, на заработок детей. Дети, слава Богу, не пили (по советским понятиям) и жмотами не были. Нет денег у Ашота с мамой, Сашка тут же предлагал, а нету, у кого-то доставал и приносил — „Ладно, ладно, Рануш Акоповна, о процентах потом поговорим”. Ромка, тот был мастер на все руки и, когда в Сашкиной кухне чуть

не рухнул потолок (верхние жители уехали и забыли закрутить кран), в три дня все отремонтировал — оштукатурил и покрасил. Ашот обслуживал все три дома по части электропроводки, радио, телевизоров. Словом, „один за всех, все за одного”, главный девиз дореволюционных скаутов и наших советских мушкетеров.

К работе своей все трое относились серьезно. Сашка репетировал принца в „Спящей красавице”, его хвалили, даже, может быть, слишком, так считал, во всяком случае, Ашот. Роману поручили если не главную, то вторую после главной роль такого невзрачного отца, полуфилософа, полуалкоголика. Ашот готовил им самим придуманную вокально-музыкально-поэтическую композицию из стихов Гарсии Лорки, вперемежку с мотивами испанской войны.

Однако работа работой, а надо же о ней и поговорить. И вообще.

На Западе все значительно проще. Жилищной проблемы фактически не существует. Есть на худой конец комнатенка в мансарде, где можно и дам принимать, и просто собираться. Для второго и кафе годятся, а их миллион. В России дело похуже.

Происходит обычно так.

— Ты когда сегодня освобождаешься?

— В восемь, полдевятого.

— А ты?

— Часам к одиннадцати уже разгримируюсь.

— Ясно. Тогда в полдвенадцатого у меня. Можете ничего не приносить. Что надо — есть.

Под „что надо” подразумевается все-таки пол-литра. Иногда пара бутылочек вина, но реже.

Лучше всего сидеть у Романа, он живет один. У тех двоих есть мамы. Обе довольно милые старушки, называются они только так, хотя обеим далеко еще до пенсионного возраста, обе работают. Но одна любит всякие вилочки, тарелочки и всегда волнуется, что нет глаженной скатерти, другая скатертям особого значения не придает, зато непременно вставляет фразу-другую в общий спор: „А в наше время считалось дурным

тоном поминутно перебивать друг друга. Надо уметь слушать. В этом большое искусство". — „Вот и следуй этому искусству", поучает не слишком любезный сынок, и мать, обидевшись, умолкает. Но не надолго, она тоже любит о высоком: „Ну как можно сравнивать Мура, Миро или как их там, с нашим Антокольским, сколько в его „Спинозе" грусти, сколько мысли". С тех пор ашотовская комнатенка стала называться „У Спинозы". Сашкина прозвана была „Максимом" — в честь парижского ресторана, по мнению всех, самого шикарного в мире. Ромкино убежище на седьмом этаже, с окном, выходящим в глубокий двор-колодец, иные называли „берлогой", но ребята предпочитали называть ее „башней", как у Вячеслава Иванова, где собирались когда-то сливки русской литературы. ×

Итак, в полдвенадцатого, допустим, у Романа, в его „башне". Посередине круглый черный стол. Ни скатерти, ни даже газетки, пролитое тут же вытирается, Ромка человек аккуратный. Вокруг стола — венский стул, табуретка и старинное, с высокой спинкой и рваной кожей, но с львиными мордами на подлокотниках, кресло. В шутку сначала разыгрывается, кому на нем сидеть, всем хочется в кресле, но потом, в пылу спора, забывается, и усаживаются даже на полу.

На столе — хрустальный графин, благодаря которому Роман слышет эстетом, в нем мило звенят камешки, когда разливают водку. Другая посуда — вульгарные граненые стаканы, в простонародье „гранчаки" — в этом тоже усматривается эстетство. Закуска — в основном, бычки в томате. Иногда холодец (когда он появляется в гастрономе).

Спор идет вокруг процесса Синявского и Даниэля. Он как-то отодвинул все на задний план. Все трое им, конечно, сочувствуют, даже гордятся — не перевелась еще, значит, русская интеллигенция, — но Ашот все же обвиняет Синявского в двуличии:

— Если ты Абрам Терц, а я за Абрама Терца, то не будь Синявским, который пишет какие-то там статейки в советской энциклопедии. Или — или...

- А жить на что?
- На книжку о Пикассо. Написал же...
- Написал, а дальше? Кстати, там тоже полно советских словечек. Даже целые фразы.
- Тогда не будь Терцем.
- А он хочет им быть. И стал. Честь и слава ему за это!
- Нет, не за это. За то, что не отрекается.
- Постой, постой, не об этом ведь речь. Вопрос в том, можно ли быть одновременно...
- Можно!
- Нельзя!
- А я говорю — можно! И докажу тебе...
- Тише, — вступает третий, — давайте разберемся. Без темперамента, спокойненько.

Делается попытка разобраться без темперамента, спокойненько. Но длится это недолго. Проводя параллели и обращаясь к прошлому, спотыкаются на Бухарине.

— А вы знаете, что до ареста он был в Париже? И знал же, что его арестуют, и все же вернулся. Что это значит?

Это завелся Ашот, главный полемист. Сашка пренебрежительно машет рукой.

— Политика, политика... Я ей не интересуюсь. Провалилась она в тартарары...

— Такой уж век, милостивый государь. Хочешь не хочешь, замараешься. Твой любимый Пикассо „Гернику” написал. И „Голубя мира”. Член партии, мать его за ногу. И Матисс тоже...

— А я вот нет! И ты тоже. И ты... Почему?

— Мы живем в другом государстве, мы все знаем.

— А они читают все газеты, могли б и побольше нашего знать...

— Ладно. Умолкните. Послушайте лучше, что сказал по поводу всего этого, знавший в этом толк, небезызвестный Оскар Уайльд.

— Чего этого?

— Искусства.

— Я знаю, что сказал по поводу искусства Ленин. Самое массовое из искусств...

— Это кино. Поэтому я в нем и работаю. — Исчезнув на минутку на кухню, Роман возвращается с четвертинкой. — Выпьем-ка за Оскара Уайльда.

— А я предлагаю за Дориана Грэя, — Сашка плеснул в стаканы. — Жутко роскошный парень. Завидую.

— А ты элементарный, советский, зажатый в тиски развратник. Поэтому и завидуешь. Тихий, потенциальный развратник.

— Мудило... И, в отличие от меня, не потенциальное.

— Сволочь ты после этого. Я ему свою опохмельную чекушку не пожалел...

— Все! — вскакивает Ашот. — Слово предоставляется мне. Поговорим об элементарном экзистенцо-эгоцентризме.

И начинается новый заход.

Бестолковость разговора, перескакивание с темы на тему, желание состричь, винные пары — все это ничуть не мешает им вполне серьезно относиться и к поведению обоих подсудимых — в основном, гордость за них, — и к тому, что самые великие художники мира так легко купились красивыми словами самой жестокой, коварной и растленной идеологии. Для них это не пустые понятия — Честь, Долг, Совесть, Достоинство...

Как-то они весь вечер провели, усталые после спектаклей и концертов, разбираясь в том, как в нынешнем русском языке обычные понятия приобрели прямо противоположное значение. Честь и совесть, оказывается, не что иное, как олицетворение партии. Труд — только благородный, хотя все знают, что это сплошное отлынивание и воровство. Слово „клевета“ воспринимается только иронически — „Слушал вчера по „Голосу“. Клеветают, что мы опять хлеб в Канаде покупаем. А про водку в народе иначе как „Колос Америки“ не говорят“. А энтузиазм? Мальчик спросил у отца, что это такое. Тот объяснил. „Почему же тогда говорят — все с энтузиазмом проголосовали? Я думал, что это значит „так надо, велели“. И все такие скучные...“ А обществен-

ность? Что под этим подразумевается? Монгольская общественность протестует, советская возмущена... Где она, как она выглядит? Этого понятия просто нет, исчезло, растворилось.

Но осточертевшая политика — всюду, паскуда, сует свой вонючий нос, вызывая, может быть, самые ожесточенные споры — все же для них была не главным. Главное — разобраться, что и как ты делаешь. В искусстве твоём родном, которому, что ни говори, собираешься посвятить всю жизнь. В двадцать пять лет влюбленность не только в кого-то, но и во что-то — необходима.

Все трое считали друг друга талантливыми. Даже очень. И со свойственной молодости безапелляционностью и бесцеремонностью брались решать не всегда даже разрешимые проблемы.

С особой рьяностью предавался этому занятию Ашот. Роман часто отрывался от компании, уезжая на несколько дней, а то, бывало, и на месяц со своей киногруппой в экспедицию. Ашот с Сашкой оставались вдвоем, и тут-то начиналось то, что Сашка называл „педагогикой”. Вечно должен кого-то учить, Песталоцци советский. Дело в том, что Ашот считал Сашку не просто талантливым, с прекрасными данными, танцором, но и актером. Хорошим драматическим актером.

— Пойми, мудило, ты можешь делать куда больше, чем делаешь, — он вынимал свою трубку, закуривал и начинал поучения. — Батманы и все эти па-де-де и па-де-катры прекрасно у тебя получаются, может быть, даже лучше, чем у других, но ты молод и глуп. Главное, глуп. Не понимаешь, что балет это не только ваша фуйня-муйня и балерин за сиськи хватать. Балет это театр. В первую очередь театр.

— Аркадий, не говори красиво. — Эта тургеневская фраза пускалась в ход, когда Ашот излишне увлекался.

— Не перебивай... Балет — это театр. Иными словами, образ, перевоплощение, влезание вовнутрь. Ну хорошо, оторвал принца в „Спящей красавице”, девчонки будут по тебе вздыхать, ах-ах, душенька, а кто-то умирать от зависти,

но прости, что там играть, в твоём принце? Нет, тебе нужна роль. Настоящая роль. И надо её искать. И найти. И ахнуть на весь мир. Как Нижинский Петрушкой.

— Ашотик, миленький, для Петрушки нужен Дягилев. А где его взять?

— Я твой Дягилев. И все! И слушаться меня надо.

Из всех своих талантов — а Ашот и впрямь был талантлив — у него и голос, что-то вроде баритона, очень приятного, и слух, и он пластичен, прекрасно копирует людей, неплохо рисует, пописывает, — но из всех этих талантов сам он выделяет режиссерский. Сценарии своих концертных программ пишет сам, сам же себя и режиссирует. Мечта его — создать собственную студию, собрать молодых ребят, горящих, ищущих и показать класс. Лавры Ефремова и „Современника” не давали ему покоя. Все на голом энтузиазме, в ЖЭКовских клубах, по ночам.

— Что-нибудь вроде „Вестсайдской истории”, понимаешь? Ты видал у Юденича? Блеск! Ничуть не хуже фильма.

Сашка видал только фильм — на закрытом просмотре — и, конечно же, обалдел.

— Охмуряем того же Володина, Рощина, Шпаликова или кого-нибудь из молодых, музыку закажем Лишке и напишут они нам балет, современный балет. А что? Начинал же Моисеев с „Футболиста”. Ну, а мы — с „Аквалангиста”. Подводное царство, Садко, русалки, аквалангисты в масках, с этими ружьями, атомные подлодки... Мир ахнет!

Так, не замечая времени (однажды это началось в десять вечера и закончилось, когда уже работало метро), могли они всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг Медного всадника, туда и сюда по Марсову полю. В любую погоду, в дождь, в снег, гололедицу. Скользили, падали, хохотали. И строили планы, строили, строили...

Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Все впереди. И планы, планы. Один другого заманчивее.

— Ну что, пошли попланируем?

— Пошли.

Господи, через много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоблачными, чем воспоминания о первой ночи любви. Никаких стычек, ссор, обид, а если и были, то тут же забылись, немислимо легко, никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают от Литейного до Дворцового, через мост, к Бирже — ну, дойдем до сфинксов, и назад, — и оказывались почему-то у памятника „Стерегущему”. И забывались осточертевшие Брежневы и Косыгины, борьба за мир, прогрессивные круги и прочая мура.

С Володиным и Роциным ничего, конечно, не получилось, и Ашот решил сам взяться за дело. Как-то занесло их в повторный кинотеатр на „Шинель” с Роланом Быковым. Когда-то ее видели, но позабыли, а сейчас она вдруг вдохновила.

— Все! Ты Акакий Акакиевич! — выпалил Ашот. — Ты и только ты! Я пишу „Шинель”!

— Побойся Бога, — смеялся Сашка. — Акакий Акакиевич третий этаж с трудом одолевает...

— Если надо, я и старосветских помещиков заставлю скакать. Была бы музыка...

И Ашот окунулся в Гоголя.

Сашке на какое-то время сперло в зобу дыхание, но витал он в облаках более низкого слоя. „Я не стратег, я тактик”, говорил он и, с трудом, после ночной прогулки, продрав утром глаза, бежал на репетицию.

И тем не менее он втягивался все же в эту придуманную Ашотом увлекательную игру. А в игре этой рождалось — для Ашота, во всяком случае, это было яснее ясного — новое слово, то самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И если б желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой.

3

В самый разгар работы над „Шинелью” свалилась на Сашку заграничная поездка.

— Ладно, катись покорять мир, — заявил Ашот, — а я к вашему приезду все закончу.

И Сашка улетел.

Гастроли, судя по доходившим сведениям, — даже „Голос Америки” об этом сообщал, — проходили хорошо. Их продлили еще на две недели, поговаривают о Штатах.

Вернувшийся раньше остальных — то ли жена заболела, то ли мать умерла — завлит Пупков сообщил, что Куницын прошел отлично — вызовы, цветы, девчонки. И не пьет.

Потом наступила пауза. Никто из Канады не звонил, „Голос” переключился на более злободневное.

— Глубинку обслуживают, — заявлял Роман. — В Клондайк поехали, к золотоискателям, „искусство — в массы”.

И вдруг...

В час ночи, когда уже все легли спать, явился к Ашоту Роман. Встрепанный какой-то. Рануш Акоповна, мать Ашота, даже испугалась.

— Ты чего? — поразился Ашот. — Другого времени не мог найти?

— У тебя приемник есть?

— Не работает, батареи сели. А что?

— А то, что Сашка наш драпанул.

— То есть как драпанул?

— А вот так, драпанул и все. Убежища попросил.

Ашот обомлел.

— Врешь! Не может быть.

— Мне лабух их, Гошка, флейтист, сказал. Он слышал.

— По „Голосу”?

— А хрен его знает, то ли „Голос”, то ли Би-Би-Си.

— Врет твой лабух, напутал что-то...

— Может, и врет, за что купил, за то и продаю.

Долго молчали. Ашот стал искать трубку, первый признак волнения. Мать из соседней комнаты спросила:

— Что, какие-нибудь неприятности?

— Да нет, так, чепуха, выпил лишнего... — и, положив палец на губы: — Матери пока ни звука.

Что и говорить, оба были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем на продавленном диване, никак не могли заснуть.

— Не верю, ну вот не верю, — громким шепотом говорил Ашот. — Ну, честолюбив, ну, тщеславен, упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись, кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев, но он же не Нуреев, ему не только слава нужна...

— Нужна, всем им нужна.

— Без нас не нужна. Поверь мне. Я знаю Сашку, как облупленного.

— Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет, но ты у нас соколиный глаз.

— Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец, он не может без Адмиралтейской иглы и дома на Мойке, без Черной реки, без нас с тобой, без мамы. Не может!

— А вот и смог. Ты же *сможешь*, когда попрешься в ЗАГС со своей Антуанеттой.

— С Анриеттой. Но это совсем другое. Я б и здесь с ней остался, поверь мне, но она ни в какую. Пробовал уже. Ни в какую...

— В чем же разница? В предмете любви? Ты — в свою парижанку, а он в успех... Успех, успех, Ашотик, с ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны. Не икроножные.

— О, Господи... — Ашот стал усердно выбивать трубку, опять закурил. — Как же жить будем?

Так и не заснули они в эту ночь. Ни свет ни заря помчались в Кировский, пронюхать. Театр был на гастролях — часть в Канаде, часть в Киеве, — и слонявшиеся по коридору одиночки, к которым подкатились, не пробалтываясь, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку-флейтиста обнаружить не удалось, другие лабухи, в основном, стреляли на пиво.

На третий или четвертый день Ромка дознался у секретарши Эльвиры, которая была к нему неравнодушна, что

слух подтвердился, продление гастролей в Канаде отменено, и весь состав в начале будущего месяца вернется домой.

— Ну и отколол наш Сашка, — не очень осуждая, вздыхала рыжая Эльвира, поглядывая на Ромку. — Кто б мог подумать? Вы бы решились на такое? И у него ведь мама осталась...

Как-то все вдруг оборвалось, померкло. Ходили сумрачные, пытались узнать у владельцев „Спидол”, кто что слышал. Но глушка остервенела, никто ничего не мог поймать. Кто-то, приехавший из Комарова, говорил, что чего-то там уловил, но толком понять ничего нельзя было. То ли через забор какой-то перепрыгнул, то ли из ресторана смылся, оставив чемоданы в номере. Мура какая-то.

Никак не могли примириться — ни Роман, ни Ашот, — что все от них было скрыто. Не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять да и решиться. Очевидно, готовился, заранее все продумал. И даже спяну — ни полсловом.

— А последний вечер, все эти „любовью брата, любовью брата”, что это? Хреновина какая-то, — Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, никак не мог понять, как открытый, душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка мог тайно к чему-то подготовиться. — Ну вот не может, не умеет, не получилось бы. Где-то, краешком каким-то, но проболтался бы... Ни хрена не пойму. А мама? Да она не переживет! А ведь любит же, гад, ее. Мне бы таким внимательным быть, заботливым... И эти слезинки в глазу, когда прощался. Ведь на всю жизнь! И с работы же прогонят Веру Павловну, как пить дать...

Роман эмоции свои скрывал.

— Будем реалистами. Мама там или не мама, но Сашка, ты же знаешь — „желаю славы я”! Желает. И будет она у него. Увидишь. Затмит Рудольфа, тому уже под сорок. К Сашке подкатились, не сомневаюсь, он там прошел, это ж факт, наговорили сорок бочек... Буду посылки, шмотки посылать, маму вызволю в конце концов, пройдет время, Брежнев закружится, а новый... В общем, купили нашего Сашку. Жаль,

конечно, но купили, купили Сашку — и с грустью: — И останусь я совсем один. Ты со своей парижанкой тоже ведь укажишь.

Ашот мычал нечто невнятное. Анриетт вот-вот должна была приехать.

В начале июля возвратились „канадцы”. Растерянные, подавленные. На таможе продержали часа три, не меньше, оставили только по одной паре джинсов (везли по пять), рылись во всех сумочках, отобрали даже футбольные и хоккейные журналы.

Сашка, как выяснилось, — говорили об этом зло, с трудноскрываемой завистью, — действительно, драпанул из ресторана. За час до отлета, до автобуса. Просто встал, не допив кофе, я сейчас, мол, все решили, что то ли в уборную, то ли к телефону, только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой, все они по двое жили, кроме начальства. Его с трудом удалось расколоть, Тимофеева, но на третий день уговорили, потащили в „Восточный”. Понять его было трудно — возможно, велели не трепаться, а может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел, но, по его рассказам, Сашка не очень-то отлучался, с бабами не водился, по этой части было очень строго, сказали, тут же домой отправят, работы было навалом, уставали, как черти.

— Ну, а он? Замечал ты что-нибудь? Волновался, нервничал?

— Да вроде нет. Последние день-два, может быть. Все, в общем-то, волновались, бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему липли, что и говорить, но, кажется, никого не трахнул.

— Но, наверное ж, он с кем-то переговоры вел. Не мог же без этого. С кем-то встречался?

— А хрен его знает. По телефону с кем-то говорил, то ли по-английски, то ли по-французски, я в этом деле ни бумбум.

Так толком ничего и не удалось добиться у тупого этого скрипача, насмерть ушибленного всем происшедшим на гра-

нице, у него чуть не отобрали купленный смычок, все деньги на него ухлопал, не жрал почти. Помог Зуев, дерьмо дерьмом, но смычок не джинсы — заступился.

Ашот и Роман по очереди толклись в театре. Потом Роман уехал на съемки, остался один Ашот. Совсем затосковал. В театре, где его знали почти все — все же первый друг Куницына, — посматривали полуиронически, полузлорадно. „Что, распался коллективчик? — съязвил как-то, подхихикивая, Большухин, намеченный как замена Сашке. — Мушкетеры отечественной выпечки. Советское — значит, отличное!” Ашот послал его подальше, но брошенное словцо „выпечка” пошло по театру. А в общем, все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, муж кагебист, прямо так и сказала: „Единственный среди нас не дурак. А мы быдло, серое, засранное быдло...”

Начальство — директора, зама, секретаря парторганизации — несколько раз таскали в Большой дом, поодиночке и вместе, потом все трое поехали в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем рассказывал потом Гошка-флейтист. Вел собрание какой-то московский, из ЦК. Позор, мол, пятно. Где воспитательная работа? Все слушают заграничное радио, газет не читают. Коллектив разболтался. Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвалили, но между репетициями и спектаклями чем занимались? Бегали по магазинам? И не стыдно? Орденоносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в том же роде. А в общем, бдительность и еще раз бдительность, не поддадимся на провокации. Потом Зуев мямлил, не доглядели, упустили, товарищи не ходят на политзанятия. Директор, как обосранный, сидел — говорят, ему и Зуеву по строгачу влепили, — что-то потом тоже о дисциплине говорил, о классиках марксизма, опять же о провокации, обещал, от имени коллектива, партии и правительству и лично Ленечке еще больше, еще выше... Тут перебил его цековский хмырь: „Какое там ЕЩЕ больше. Штаны подтянуть надо, совсем свалились!” Николай Николаевич совсем растерялся — „Есть, говорит, подтянуть”. Зал как грохнет. Умора.

— Ладно. Умора не умора, о Сашке что говорили?

— Как что? Продал родину. Страна на него столько потратила, а он такой номер выкинул.

— А кто выступал?

— Кто, кто? Кому велели, те и выступали. Большухин, конечно. Стрельцова. Нуреева вспоминала. Кто еще? Не помню уже. Завкостюмерной, забыл его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. Тут опять все грохнули. В заключение — опять цековский взял слово. ЦК, мол, разрабатывает сейчас специальное решение о заграничных гастролях. Пресесть расхлябанность и разгильдяйство. Ну и пошел, пошел, из передовицы „Правды”... Суровый дядька. Из сектора культуры, что ли, а может, и повыше. А в общем, холуй. Как все...

— Ну, а Лилька Кашинцова выступала, последняя Сашкина дева?

— Выступала, а как же. Приказали, конечно. Слезу пустила. Верь, мол, человеку. Но помоями не поливала, как другие. В основном, редела.

Из ресторана ушли мрачнее тучи. Даже вино не помогло.

— Нет, — сказал Ромка, прощаясь. — Правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растлили! Всех растлили.

Как говорили потом, именно после этого собрания Готовцева и сказала про быдло, сопроводив метким эпитетом.

4

Прошло какое-то время. Вполне достаточное, чтоб Ашотова Анриетт приехала, уехала и опять приехала. Она была милостивая, с большими черными печальными глазами, очень молчаливая и, как многим казалось, всем немного испуганная. Но это не был страх, это было постоянное ожидание каких-то неожиданностей.

— Естественная неадаптированность, — определил Ромка. — Просто для твоей Антуанетты, — он упорно называл ее так, со временем окрестив Марией-Антуанеттой, — разница

во времени между Парижем и Ленинградом не два часа, а два столетия.

В собрании друзей она всегда сидела в уголке, молча, но оставаясь с кем-нибудь вдвоем — по-русски она говорила совсем неплохо, но так и не преодолев твердого русского „л”, — обнаруживала и ум, и познания, и умение на вещи смотреть по-своему, а, главное, неистребимую любовь ко всему русскому.

— Вам бы только настоящего царя, — говорила она, улыбаясь и показывая мелкие, очень белые зубы. — Доброго. Вроде монакского князя Ренье.

Монакского Ренье никто не знал, но о выборе не спорили.

— А коммунистов у него там нет? — допытывался Роман.

— Да что ты...

— Тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю как. Все денежки просадим.

Еще какое-то время спустя отправились Ашот со своей Анриетт в Дворец бракосочетаний. Там строгая деятельница в очках, с нелепой красной лентой через плечо, прочитала им ровным, без всякой модуляции, голосом нотацию — о том, что муж, как истинный советский гражданин, должен приобщить свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоззрению (самому передовому в мире), затем исполнен был марш Мендельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин повел под ручку свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом платье (сам же он, не выдержав битвы с друзьями, вынужден был надеть галстук) к свадебному столу.

Рануш Акоповна оказалась на высоте. Составленные столы, под которые сунули картонки, чтоб не шатались, были накрыты белоснежными скатертями, сияло серебро и хрусталь (понятие вполне условное), розовели тонко нарезанные колбаса и ветчина, на блюдах красовались традиционные винегреты, зажарено было четыре курицы, с двух маленьких блюдецек всем улыбалась настоящая черная икра. Выпивки тоже хватало.

Роман произнес тост. В нем говорилось о двух идеологиях, растленной и созидающей, о традиционной дружбе французского и русского народов, заложенной еще Наполеоном, продолженной его племянником Наполеоном III во время севастопольской обороны и закрепленной торжественным актом, на котором все сидящие за столом сегодня присутствовали. Есть основания предполагать, что героизм русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородина и склонах Малахова кургана, всегда будет достойным примером для наших молодоженов.

— Умейте сопротивляться! — закончил он свой, вызвавший бурю аплодисментов, тост. — Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Потом пили и ели. Разошлись где-то под утро. В самый разгар свадебного веселья, когда доставались дополнительные поллитровки, вспомнили о Сашке. Вспомнил Ашот.

— Мне очень жаль, что нет с нами сегодня нашего Сашки, — он сделал приветственный жест в сторону печальной, сдерживающей свое волнение Веры Павловны. — Мы знаем, что ему хорошо, что, простите за невольную банальность, звезда его взошла и светит во всю силу. До нас он, этот свет, увы, не доходит, но тепло его согревает наши сердца. Выпьем же за Сашку!

Все дружно захлопали и с охотой выпили. Роман, конечно, не удержался и, чтоб как-то уравновесить высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, вызвав еще большие аплодисменты:

— Да здравствует ленинградский, ордена Трудового Красного знамени театр имени Кирова, поставляющий на мировые театральные подмостки лучших своих сынов!

За это тоже было выпито.

Вообще, о Сашке вспоминали долго. Со смешанным чувством досады и радости. В Америке он прошел. Прошел первым номером. О нем писали в самых восторженных тонах. Русское чудо! Феномен с берегов Невы! Заряд молодости! Торжество изящества и красоты! Талант, победивший тиранию! Мастерство и вдохновение! Проводились параллели

с Фокиным, Мордкиным, Лифарем, Васильевым, даже с божественным Нижинским. Одна статья так и называлась: „Его Величество Вацлав Второй”.

Не радовался только Ашот. Он чувствовал за всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отрывочным сведениям, которые пробивались по радио, из просачивающихся иногда заграничных журналов он видел, что успех действительно феноменальный, и не радоваться этому не мог, но как важно закрепить его, развить. Удастся ли это Сашке? Он не был уверен.

Часто бывал он у Веры Павловны. Поддержать как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от нее вроде: „А от Сашки открытка!”. О письме она уже и не мечтала. Но ни письма, ни открытки не было.

Вера Павловна очень осунулась за последнее время, как-то сникла, поблекла, но в руках умела себя держать. Не плакала, не жаловалась, во всяком случае, на людях. Когда Ашот заходил, он обычно заставлял ее возле Сашкиного стола, что-то перебирающей, перекладывающей. Ничего трогать на столе или ставить на него не полагалось, разложенные под стеклом фотографии лежали в идеальном порядке, а одна, где Сашка совсем еще маленький на руках отца (погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии), вставлена была в специально купленную рамку и повешена над столом.

С работы Веру Павловну, как ни странно, не уволили, более того, она видела, что ей сочувствуют, замечала признаки трогательного внимания, то цветочек на столе, то в день Веры, Надежды, Любви преподнесли ей прекрасно изданный альбом на французском языке „В мире танца”. Даже директорша Людмила Афанасьевна, человек, как всегда казалось, сухой, черствый, подошла однажды, когда никого не было в комнате, обняла за плечи и сказала: „Я все, все понимаю, Верочка, — она впервые назвала просто по имени, — но в обиду вас не дадим. Так и знайте...” И тут же вышла.

Примерно через год после отъезда Сашки — большинство говорило обычно „бегства”, но Вера Павловна только „отъезд” — в Ленинграде объявился американский джаз. Попастъ

на его выступления было невозможно — только пробивной Роман всякими правдами и неправдами проник, Ашоту так и не удалось, — но гастролы эти ознаменовались неким неожиданным событием. В очередной визит к Вере Павловне Ашот застал ее неожиданно оживленной и чуть-чуть встревоженной. „А у меня кое-что есть! Догадайся что”. — „Открытка!” — выпалил Ашот. — „Угадал. Правда, не от него, но...” Она протянула обычную открытку с видом Петропавловской крепости. На ней корявым почерком было написано по-русски: „Глубокоуважаемая мадам Куницын, я приехал в Ленинград и имею вам маленький посылочка. Отель „Астория” № 112. Джон Горовец”.

Начали соображать. Решили, что лучше всего, чтоб пошел Ашот. И он пошел.

Открыл ему дверь очень подвижный, похожий на гнома человек.

— Вы друг Александра? — спросил он по-английски.

Ашот, с трудом подобрав слова, сказал, что мадам Куницын больна и просила его поблагодарить гостя и взять посылочку.

Гном подошел к шкафу и вынул из него аккуратную, довольно большого размера, картонную коробку. Ашот попытался на своем варварском английском что-то узнать о Сашке, но в ответ услышал только „О-о! Гуд, гуд! Экстра!”. Больше выжать ничего не удалось. Он раскланялся и ушел.

Коробка со всеми предосторожностями была распакована. В ней оказалась яркая, что несколько озадачило Веру Павловну, шерстяная кофта крупной вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, очень изящная, копенгагенского фарфора, статуэтка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неведомых фруктов, с пестрой этикеткой, и большой, чудо полиграфии, завернутый в целлофан альбом „Alexandre Kunitsyn”. На обложке — делающий фуэте Александр Куницын, неизвестно в каком, но явно классическом балете. Целлофан самым бережным образом перочинным ножиком вскрыли, развернули альбом и на первой, очень глянцевиной странице прочли: „Дорогой мамочке от недо-

стойного сына. Целую тысячу раз! Саша”. Вера Павловна тут же стала лихорадочно листать и трести альбом, но никакого письма или записочки из него не вывалилось.

— М-да, — сказал Ашот, чеша за ухом. — Мог бы...

— Мог бы... — повторила упавшим голосом Вера Павловна и, уже не торопясь, страница за страницей, стала рассматривать альбом.

О! Как он был красив! Сияющий, улыбающийся (хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал, подумал Ашот), парящий в воздухе, с балеринами одна другой краше и знаменитей, раскланивающийся с гигантским букетом в руках, на репетиции, подписывающий автографы в толпе поклонниц. Ракурсы, освещение, композиции показывали, что автором альбома был не просто репортер, все было умело схвачено, подчеркнуто, продумано. Фотографиям, их было штук двадцать, предшествовало вступление, написанное (на следующий же день перевела Рануш Акоповна, она знала английский) одним из крупнейших, как сообщили позднее знатоки, театральных критиков. Все в превосходных степенях.

Несколько портретов (один из самых удачных, на фоне Бруклинского моста, в развевающемся на ветру плаще — вот тут-то и мог быть позадумчивее) Вера Павловна не без некоторого сопротивления разрешила переснять, и вскоре предприимчивые ленинградские мальчишки стали продавать их по три рубля штуку (Элвис Пресли и Битлсы шли всего по рублю).

Прошло еще какое-то время. И случилось то, что казалось маловероятным, в лучшем случае канительным и мучительным — Никогосяны, все втроем, получили разрешение на выезд. Как всегда, это вызвало толки и кривые усмешки — „знаем, знаем, мол, почему так быстро дали”, — но большинство радовалось и, конечно же, завидовало. Рануш Акоповна тут же растерялась. Засуетилась, стала перебирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и расстаться с какими-то тряпочками („это же твоя детская распашонка”), с рамочкой или треснувшим блюдечком („ведь это дедушкино, ни за что не брошу”) казалось ей преступлением, неблагодарно-

стью к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, удалось все же продать, что-то — мебель, холодильник, стиральную машину („ты помнишь, сколько мы за ней стояли?“), ковер с лебедями — оставить друзьям. Главная баталия развернулась вокруг „Медицинской энциклопедии“, которую Рануш Акоповна тайно штудировала, когда у нее начинала болеть печень или появлялось красное пятнышко на руке. Но постепенно, день за днем, комната пустела, и, наконец, когда остался только стол и диван в окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, была устроена отвальная.

За день до нее, вернее, в предшествующую ей ночь, Ашот с Романом совершили традиционный, на этот раз прощальный, променад вдоль Невы.

Начали от Московского вокзала, прошли весь Невский, попрощались с клодтовскими порывистыми юношами и конями на Аничковом мосту, с бронзовой царицей, окруженной фаворитами („помнишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтоб голуби не садились, а они сквозь сетку все равно гадили?“ — „А потом выкрасили черной краской, считали, что зеленая патина на бронзе — грязь“), с любимым кафе „Норд“, ставшим в годы борьбы с низкопоклонством вдруг „Севером“, помахали ручкой „Европейской“ („Ох, пито, пито, пито!“), посидели в Александровском (Сашкином!) садике у Адмиралтейства и, перейдя Дворцовую площадь, вышли к Зимней канавке. Ну и дальше, по набережным, до Петропавловки.

— Итак, как писали в старину, еще одна страница перевернута, — резюмировал Ашот.

Да, нелегко было ее перевернуть, эту последнюю страницу. Скольких евреев проводил Ашот в Израиль? Десять, пятнадцать, двадцать? И каждый раз думал, правильно или не правильно они поступают? Убеждал себя, что правильно — у Исачка сына не приняли в университет, Борис Григорьевич тоже думает только о детях, хочет, чтоб росли свободными, старик Иссельсон говорит, что всегда чувствовал себя евреем и хочет умереть на земле предков, а всем вместе просто осточертела советская власть, — но, что там ни говори, уез-

жали они из страны, в которой, хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь, выросли корнями. И теперь эти корешки, старательно и злобно к тому же оборванные и обгаженные в каком-нибудь Чопе, надо бережно всадить в чужую почву и поливать, поливать...

Сколько дум передумал Ашот, ворочаясь на своем продавленном топчане, сколько мудрых советов выслушал после того, как собрал и подал все эти идиотские бумаги. Главным оппонентом был Роман. И не только потому, что лишался еще одного друга, а потому, что трезво, как он утверждал, смотрит на будущее.

— Ну что ты, Ашот Туманыч, будешь там делать? Что? Без языка, чужой, воспитанный на нашем дерьме. Был бы ты скрипачом, другое дело, им всем там фартит, советская школа, ну и тэ дэ. А кому нужны там твои песенки, литературные композиции из русских поэтов, с подмигиванием, которое только нам понятно? Им и свои-то поэты не нужны... И вообще, — решительно подводил итог Роман, — тут ты, скажем так, Брандо, а там говно... Ясно?

Все это Ашот и сам понимал. Брандо не Брандо, но пара пластиночек уже есть. Филармония все заявки принимает сходу, публика вроде хлопает. А там-таки да, говно! Язык он никогда не выучит, ясно. На скрипке не играет, а для шансонье важен не голос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений. Миму и то без этого нельзя. X

Анриетт — вот кто толкнул его на этот шаг. Ей было трудно. Очень трудно. Она ничего никогда не требовала, ни на что не жаловалась, со всем, что говорил Ашот, соглашалась, но дышалось ей нелегко. Русские ей нравились очень, даже больше, чем французы. Правда, интересы их, увлечения не всегда были понятны, но сами по себе бесконечные ночные споры, заводиловки — ей очень нравилось это слово, — даже неизменные поллитровки, неизменно утомлявшие ее, недостаточно тренированную француженку, ничуть не раздражали, напротив, в них, в заводилках этих, самом образе жизни, бестолковом, суетливом, напряженном, никогда заранее ничего не знаешь, все опаздывают, забывают, надува-

ют, — было то, чего не было в ее Париже. Жизнь! Пусть сложная, с преодолением бесчисленных препятствий, но и с товарищеской поддержкой, а иногда даже с маленькими, малюсенькими, но победами.

И все же...

— Ты понимаешь, Ашот, — говорила она, когда начиналось очередное взвешивание „за” и „против” отъезда, — полюбить, понять я могу, хотя ваш Тютчев говорил, что в Россию можно только верить. Но я не верю. Да и кто верит сейчас во что-нибудь? И все же, главное другое — я не вписываюсь. Так вы, кажется, говорите? Я родилась в Латинском квартале, на рю Эшодэ. Ты знаешь, что такое эшодэ? Пышка, пирожок и еще одно понятие — „ошпариться”. И поговорка есть у нас: „Chat echaude craint l’eau froide”, вроде вашей, только у нас это кошка делает — обожглась и дует на холодное. Вот я — типичная кошка. Дую на холодное. Но обожглась. И очень даже.

Ашот хохотал.

— А у нас и пластыря не достанешь. Посему поедем за пластырем, там у вас, говорят, в каждой аптеке.

Пластырь решил все. Страница была перевернута.

Роман в эту ночь был мрачен. Ко всем переживаниям последних дней прибавилось еще одно — картина, в которой он снимался последние полгода, окончательно легла на полку.

— И эта страница тоже перевернута. Все псу под хвост! Деньги, время, бутафория, декорации, весь наш запал, а он был, — все под хвост. Нет, видишь ли, мажора, ярких красок, все принижено, приземлено, создается неверная, сознательно искаженная картина человеческих отношений, не свойственных нашим... Ну и так далее. На рвоту тянет, слушающая всех этих Баскаковых и прочих перестраховщиков... Нет, Ашотик, правильно ты делаешь, другого выхода нет.

Ашоту не хотелось ни думать, ни говорить о том, к чему давно уже пора было привыкнуть. Грусть от того, что он расстается со всеми этими камнями, плитами, решетками, изогнутыми мостиками, с крыловскими зайчиками и лисич-

ками в Летнем саду, заслоняла осточертевшую советскую муру.

— Вот и мне, как Сашке тогда, хочется твердить и твердить „Невы державное течение, береговой ее гранит”... Как-никак вся жизнь, с шести лет. И в школу, и в институт, и у того Петра, у Инженерного замка впервые девочку обнял... И не хочу я ни о каких Баскаковых и прочих там Ермашах сейчас думать. Не хочу и все, пойми ты это, сухарь...

Сухарь все понимал. Но он оставался один.

— Один, вот так вот, один. Затянувшаяся инфантильность, сентиментальность, никогда в себе не подозревал ее, черт его знает, но переворачивание этих страниц, одна за другой, как серпом по одному месту. И наше мушкетерство, да, детское, да, наивное, было единственной отдушиной. И вот теперь один-одинешенек. Гвардейцы кардинала победили нас. И нет у меня ни Планше, ни Мушкетона. Один...

Ашот обнимал Романа.

— Встретишь хорошую девушку, полюбишь, женишься...

— Было уже. Знаю. Хватит.

— А детей вот не было. А появятся, сразу же...

— Я не люблю детей. Как Салазар, португальский диктатор. Единственный из них, кто не сюсюкал, не снимался со всякими Мамлакат...

Так провели они полночи. Возвращаясь по Невскому, свернули к Русскому музею и сквозь щель в заборе Ашот попрощался еще с одним царем, скучающим на своем конебитюге, — Александром Третьим.

— Хороший был царь, — вздохнул он, — несмотря на всяких там Победоносцевых. Помнится, Марья Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как он с начальником охраны успевали надраться, усевшись за свой бридж или поккер. Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. Окачивается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. „Ну так что? Голь на выдумки хитра?” — „Хитра, Ваше Величество!” — и опрокидывали. Ну, разве плохой царь?

— А наши и не стесняются. Попробуй Нина Петровна Никите помешать...

На отвальную пожаловало народу поменьше, чем на свадьбу. Но тише от этого не было. Сидя уже не за покрытыми скатертью столами, а на чемоданах, перевязанных веревками картонках, прямо на полу, шумели, смеялись, перебивали друг друга. Тосты произносились все бодрые, добрые, с напутствиями, в основном, определенного направления — „Главное, научи их пить! И магу расейскому! И напролом, сквозь джунгли их капиталистические! Не тушуйся!”

Расставались где-то уже под утро. Рануш Акоповна всплакнула. Единственная комната их показалась ей не такой уж тесной, а чахлая березка в глубине двора даже стройной, кто ее теперь поливать будет?

Через день все трое, с трудом растыкав пожитки по полкам, отбыли с Финляндского вокзала прямым вагоном в Хельсинки. Оттуда пароходом до Гавра. Скрупулезные подсчеты показали, что так дешевле.

Моросил дождик, и это делало Ленинград еще более своим. Провожающие, цепляясь раскрытыми зонтиками, натужно улыбаются. Как всегда, под конец не о чем было говорить, томились, поминутно поглядывали на вокзальные часы.

В последнюю минуту — „Ненормальный, куда ты?” — Ашот выскочил из вагона и еще раз со всеми обнялся. Романа стиснул, крепко поцеловал в губы.

— А все-таки барали мы гвардейцев кардинала! Очередь за тобой...

Роман ничего не ответил. Печально улыбнулся.

5

Ашот лежал на диване и смотрел через окно, как какой-то парень на крыше противоположного дома возился с телевизионной антенной. Тянул провода, бегал куда-то, что-то приносил, прыгал. „Фанфан-Тюльпан, — подумал Ашот. —

Жерар Филипп". Солнце заходило за бесчисленные трубы парижских домов, вдали виднелся купол Инвалидов — „Когда ж, наконец, соберусь поклониться праху Императора?" — и Ашоту все казалось, что это ненастоящее, что это открытка.

Он протянул руку, взял крохотный приемничек „Сони", начал крутить. Разные французы очень быстро говорили о чем-то непонятном. Вот болтуны... Иногда прорывалась музыка, дома от нее млели, а тут все эти рокки уже раздражали. Просачивались, сквозь синкопы, английские, испанские, итальянские голоса. И вдруг — „Маяк". „Труженики полей Краснодарского края перекрыли взятые ими после июльско-го пленума повышенные обязательства. Хлеборобы с энтузиазмом, с огоньком ответили на решение пленума о дальнейшем..." С каким это огоньком, интересно? За бутылкой? А американский фермер — их там, кажется, всего три процента, — всю страну кормит и за границу к тому же продает. Ашот не знал еще, что через два-три года главным покупателем будет страна строящегося коммунизма. Он повернул верньер, встал, тихонько заглянул в соседнюю комнату. Мать спала, с позавчерашнего дня она неважно себя чувствовала и все время спала.

После двенадцати вернулась Анриетт, эту неделю у нее заняты были вечера, работала в агентстве „Франс-Пресс".

— Устала?

— Не очень. Как всегда.

Она вынула из сумки „Ле Монд" и бросила на стол.

— На последней странице, внизу, справа.

— Что внизу справа?

— А ты прочитай.

Он ткнулся в нижний правый угол. Присвистнул. Бросилось в глаза „Kounitsyn".

— О Сашке? Твою мать...

В заметке сообщалось, что на открытии театрального фестиваля в Авиньоне выступит известный советский танцор, ныне живущий в Америке, Александр Куницын. Одно выступление состоится и в Париже 17 июня...

— Вот это да! — Ашот вскочил и натянул зачем-то штаны.

— Ты что, за билетами уже?

— Черт! Сашка в Париже! Подумать только. Ну, он у меня не выкрутится, падлюка, прижму к стенке. Пусть только попробует...

— Что попробует?

— Пусть только попробует, — Ашот заметался по комнате. — Я ему покажу, пусть только попробует. Сегодня какое число?

— Восьмое.

— Так значит... Да куда она делась?

— Кто?

— Да грубка. Вечные твои уборки. Сколько раз говорил, что место ей здесь...

Как ни странно, но она оказалась именно здесь. Набил ее, старательно прижимая пальцем, закурил.

— Пусть только попробует... Мы ему покажем... Дадим дрозда.

Концерт состоялся в зале „Мютюалитэ”, не самом большом, „Пале де Конгрэ” побольше, но очень престижном. Когда-то с успехом выступал здесь Окуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли.

Ашот ожидал афиш. Но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас, анонсами, стояла на углу бульвара Сен-Жермен и рю дю Бак, и, сидя в угловом кафе „Эскуриал”, Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Иегуда и Иеремия Менухины, наши Ростропович, Гидон Кремер. Лучшие имена. И вот среди них — Куницын. Сашка Куницын! Гад Куницын! Они с Анриетт сидели в этом самом „Эскуриале”, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессэ и, нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу.

— Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицыным, а он ей очень понравился, сказала: „Одно у вас осталось испытание. Испытание славой”. Или что-то

в этом роде. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж...

— Ну почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать?

— Да не о ней речь, не о точке зрения. Бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее... пока, правда, что-то не светит, о знаменитых звукооператорах я что-то не слышал, но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос, но вот Сашка... Наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах... ты скажешь, что в этом и шик, но, в общем-то, не такой уж шмоточник... Главное, что называется, бессребреник. Есть — есть, нет — нет... У кого трешку всегда можно было тиснуть, даже пятерку, червонец? У Сашки! И тут же забывает. „Разве ты мне должен? Ну давай, тогда шиканем, в „Садко” двинем”. Деньги считать не умеет. Любой импрессарио его обштопает. Лопух.

— Что это — „лопух”? — переспрашивала Анриетт. — Такой лист большой?

— Ну, поц, тебе понятнее?

Всю ночь перед концертом Ашот проворочался. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно.

На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один, у Анриетт было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали.

Место оказалось хорошее, десятый ряд. Долго не получалось с освещением. Проектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал и расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении — „Щелкунчик”, „Раймонда”, „Спящая красавица”, во втором что-то неизвестное, английского или американского композитора и, ничего себе, „Полуденный отдых фавна”, повеяло Нижинским.

Наконец, все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился — кто? — Сашка. Слетел и застыл,

очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные — бурным еще рано, — но хлопал весь зал. Он слегка, только головой, сделал поклон и...

Дальнейшее было триумфом. Самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты, казалось, даже и земли не успевал коснуться и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам, трюка зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист, никакого напряжения. И ноги, вроде, длиннее стали, ха-ха...

В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих знакомых и одного шныря из своего телевидения, но встречи избежал, прошел мимо, возможно, те даже и обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши „Карнеги-холла”, очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке, голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки — для храбрости, что ли? Вернулся на свое место.

Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетал через всю сцену и опять, не торопясь, начинал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот „Фавн”, почти совсем без трюков и полетов, оказался — Ашот с облегчением вздохнул — ни тем и ни другим, не классикой и не модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не только танцор, он артист.

К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики „браво!”, „бис!”. После третьего или четвертого его выхода — раскланивался он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал, Ашоту стало еще радостнее — начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы, крохотные красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот

чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал, глотал тот самый ком в гортле.

„Случилось! – подумал Ашот. – Случилось-таки. Париж у ваших ног...”

Пробиться за кулисы оказалось почти невозможно. Один тип боксерского сложения не пускал никого в маленькую дверь, ведущую на лестницу, другой, тех же данных, с лестницы в само помещение гримерной. Но Ашот пробился.

Сашка. Совершенно мокрый, пот с него катился в три, пять, шесть ручьев, стоял, окруженный плотной толпой и сиял. Милая его, курносая морда источала счастье. Вертел головой, улыбался, смеялся, поминутно вытирал пот, слепивший глаза. Со всех сторон совали программки, открытки, фотографии, он, не глядя, расписывался, кому-то что-то оживленно отвечал, на каком языке – непонятно...

Ашот подошел и негромко сказал: „Аркадий!”

Сашка мгновенно застыл, улыбка исчезла с его лица.

– Аркадий, не говори красиво, – еще тише сказал Ашот.

И тут Сашка встрепенулся, растолкал всех к черту и ринулся к нему. Назвать объятиями это нельзя было, это был обрушившийся на Ашота вихрь, муссон, торнадо, мистраль, новороссийский норд-ост, только горячий и потный.

– Так твою мать! – естественное, что вырвалось из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражающим все на свете, кратким, русским, назовем это – выражением. И оба тискали, мяли друг друга, хлопали по спине. Отстранялись, впивались глазами один в другого и опять обнимались, хохотали. И все те же три слова, незаменимые и родные.

Наконец, запыхавшись, успокоились.

– Ну как? – спросил, наконец, Сашка. В голосе его звучала тревога.

– Как, как... – Ашот улыбнулся. – Терпимо.

– Гад! „Терпимо”?..

– А ты чего ждал от меня?

– Нет, серьезно, как Фавн?

– Как?

– Как! – почти крикнул Сашка.

Ашот сделал паузу. Сашка напрягся. Застыл в вопросе.

— Сашка, ты артист. Вот все, что я могу сказать.

И опять вихрь. Сашка схватил маленького Ашотика, поднял в воздух и закрутил по крохотной комнате, расталкивая всех. И бухнулся на поставленный кем-то стул.

— Ну, спасибо, Ашотик... Спасибо... Я знал... Будто чувствовал... Господи... Ведь ты... Ведь мне... В общем, терпимо?

— Терпимо.

Толпа опять сомкнулась вокруг них. Подошел пожилой, с помятым, дряблым лицом, с бабочкой на шее субъект и дама, видом — постаревшая София Лорен. Что-то ему, наверное, напоминали. Он кивал головой, да-да, помню. Потом еще какой-то, тоже с напоминанием, третий, очевидно, журналист, с блокнотом в руках.

„Ничуть не изменился, — подумал Ашот. — Ну, ни чуточки. Все такой же. Даже помолодел вроде”.

Сашка, оторвавшись от наседавших со всех сторон, повернулся к Ашоту:

— Ну, как же нам быть? Видишь, что делается?

Ашот ничего не ответил. Ждал. Протиснулась и овладела Сашкой группа молодых ребят, очевидно, балетных, засыпала вопросами. Опять потянулись руки с карандашами, ручками.

— Как же нам быть? — повторил Сашка, отстраняя рукой патлатого парня. — Сейчас у меня это самое, вроде как прием. В вашем „Максиме”. Лифарь будет, сам Серж Лифарь, понимаешь? Кажется, он даже и организатор... Что ж делать? Телефон у тебя есть?

— Нету.

— Запиши тогда мой, — он протянул в пространство руку и в ней сразу же оказались программка и авторучка-бик. Он записал номер.

— Это отель „Монталамбер”, в самом центре. Это портье, это номер комнаты. 245.

— Ясно. Когда позвонить?

Сашка почесал затылок.

– Когда, когда... Утром... Нет, утром не получится. Давай после обеда, по-вашему апрэ-миди... Нет, тоже не выходит... Давай все же утром! В восемь утра. Даже в полвосьмого. Идет?

– Идет.

– Значит, договорились. Завтра в полвосьмого... Господи, столько надо...

Верткий фотограф с тремя аппаратами на шее, тщетно пытавшийся пробиться к Сашке, завладел-таки им.

– Да... Как Ромка? – спохватился вдруг Сашка. – Что ты о нем знаешь? Жив, здоров?

– Жив, здоров...

– Ладно. До завтра. В полвосьмого, значит.

– Знаешь, – Ашот с трудом пробился к Сашке. – Запиши-ка мой адрес. На всякий случай.

Сашка замахал руками.

– Зачем он мне? Все равно потеряю, ты же знаешь. Жду звонка и все...

На него опять набросились.

Ашот пошел домой. Возвращался с каким-то странным чувством. Радости, растерянности. Зашел в кафе, ахнул двойного коньячку... Да, ничуть не изменился. Глаза вот только... Впрочем, какие еще могли быть глаза... Сколько же это прошло? Год? Нет, больше. Полтора уже. Выехали в октябре... Год и семь месяцев. Бежит время. Ашот проехал свою остановку, пришлось возвращаться.

На следующий день ровно в семь тридцать он снял трубку автомата. Длинные гудки, никто не подошел. В восемь то же самое. В девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глухо.

В обеденный перерыв поехал в этот самый „Монталамбер”. В метро просмотрел газеты. В „Котидьен”, „Либерасьон” небольшие, но очень хвалебные заметки, в „Фигаро” даже статейка побольше, где в приятном контексте вспоминали Дягилева, русские сезоны в Париже.

Сашки в отеле не оказалось. Ашот оставил записку, просил, чтоб Сашка позвонил Анриетт на работу.

Она вернулась к шести, никто ей не звонил.

Поздно вечером, опять не дозвонившись, Ашот пошел еще раз в отель. Любезный портье сказал ему, что местье Куньицн, совсем недавно, полчаса, не больше, уехал на вокзал. Поезд в 23.30, с гар Аустерлиц, на Авиньон...

— Записки он мне не оставил? — спросил Ашот. — Гляньте, пожалуйста.

Портье глянул в ящичек возле гвоздика с ключом.

— Нет, ничего нет, местье. Пусто.

— Ну, надо ж его понять, — говорила в тот вечер любящая „мир-дружбу” Анриетт. — Успех, голова кругом, растерялся, приемы, Лифарь, один день в Париже, со всех сторон дергают...

— Конечно, конечно, — соглашался Ашот, ему очень хотелось согласиться. — Но все же...

Закутанная в платок мама, ее все еще знобило, тоже защищала Сашку.

— Ведь это Сашка, наш Сашка, ты ж его знаешь. Горячий, импульсивный, увлекающийся. Сам говоришь, какие у него были глаза, когда тебя увидел.

— Глаза-то глаза, но...

— Что „но”?

— Да как-то все не то... Не так.

— Нет-нет, Ашот, не осуждай его. На обратном пути из Авиньона он обязательно...

— Та же суета, разрывание на части... Куда уж тут... И адреса так и не взял.

— А ты почему не оставил сейчас у портье? Сходи завтра, занеси, он, вероятно, в том же отеле остановится.

Скрепя сердце, на следующий день, возвращаясь с работы, занес. Портье успокоил, сказал, что номер зарезервирован.

Нет, Сашка есть Сашка, закрутился, завертелся, спохватился уже в поезде, стал казнить себя... Зайдет, не может не разыскать. Ну, вот не может! А внутри сосало, скребло, на работе был рассеян, отвечал невпопад.

— Да успокойся ты, наконец, — мать видела, как мается ее, ах, какой ранимый Ашотик. — Я понимаю, все понимаю, но и ты должен понять. Тебе хотелось бы, конечно, чтоб он...

— Да, хотелось бы... — пресекал Ашот. — Ладно. Хватит. Увидим.

„Нет, не могу, у меня свидание с другом... И все. Свидание с другом, которого не видел Бог знает сколько... Ясно?“ — вот что сказал бы Ашот на его месте. Но Сашка не сказал, уехал в Авиньон.

Прошла неделя. Фестиваль закончился. В газетах о нем много писали. Писали и о Сашке. Расхваливали. Ашот ждал.

Статьи прекратились. Ашот продолжал ждать.

— Да ты сам зайди, — твердила, твердила мама. — Чего тянуть. Зайди в гостиницу и все.

— И дай, наконец, ему дрозда, — подсмеивалась Анриетт. — Ты ж собирался.

И он зашел. Ему сказали, что, да, останавливался, три дня прожил и в конце прошлой недели улетел в Нью-Йорк.

6

Шел третий год парижской жизни. Ашот с матерью получили гражданство. По французским законам для этого надо было бы прожить здесь пять лет, но помогли кое-какие связи Анриетт. Несколько идеализировавший на первых порах западные порядки Ашот, столкнувшись с французской канцелярщиной, был поражен ее сходством с родной, советской. Он утверждал даже, что она позаковыристей и труднее объяснима.

— Советские анкеты ясны. Служил ли в Белой армии, состоял ли в рядах какой-нибудь партии, есть ли родственники за границей, переписываешься ли, был ли судим, за что, сколько отсидел, как у тебя с пятым пунктом? Во всем железная логика. Если служил, состоял, переписываешься, сидел и на вопрос пятой графы, как в том анекдоте, отвечаешь „да“ — значит, плохой, не годишься, проваливай. А у

французов? Почему-то им обязательно надо знать, где и когда родились и умерли родители первой вашей жены? Зачем это им? А хрен его знает. И как докажешь? Бумаг-то никаких. Представьте свидетелей. Каких, откуда? Умные французы подсказали — это не важно, формальность, желательно только, чтоб по возрасту подходили. И вот ищешь и, наконец, находишь троих стариков и старушек, и они, волнуясь и трепеща, врут напропалую, что знали, мол, таких-то, и родились они и умерли тогда-то. И этой липы, оказывается, достаточно. И так на каждом шагу. Логика никакой. А у нас — железо.

Стали ли — обзаведясь „карт д'идентитэ” и паспортом в синей обложке, он нужен только для поездок за границу, — стали ли наши милые армяне-ленинградцы французами? Рануш Акоповна, нужно прямо сказать, нет. Не вписалась, язык не давался, только к концу первого года стала справляться с продуктовыми магазинами и булочной, в больших магазинах „Лафайет”, „Прэнтан”, „Бомаршэ” терялась, в подземных переходах метро путалась, ехала не в ту сторону, в автобус влезала не в ту дверь, привыкла сзади входить, спереди выходить, а тут наоборот, в телевизоре ничего не понимала и все вздыхала: „Ну нет у нас мяса, к десяти кончается молоко и яйца, но Катька-продащица сто лет тебя знает, на тебя не кричит, иной раз даже улыбнется и бумажку найдет завернуть, мясник Левка нет-нет, да и приличный кусочек подкинет, а тут...”. „А тут все вежливы, — смеялся Ашот. — На каждом шагу 'мерси'”. „Нужно мне их 'мерси'... — отмахивалась мама. — На все у них 'мерси'. Даже на объявлении (кое-какие она уже могла прочесть) — 'стоянка машин воспрещается, мерси'. Да ну их...” Нет, не прижилась Рануш Акоповна.

О себе Ашот говорил: „Французом не стал. И не стану. А парижанином — да. Нравится мне этот городишко”. С миром наживы и стяжательства свыкся относительно быстро, хотя не нажил и не стяжал ничего. С языком более или менее справился, первые полгода ходил на курсы. На работу не сразу, но устроился. Сначала осветителем в театре „Одеон”.

Посмотрим, что у них за театр, думал он. Разочарование пришло почти сразу же. Смотрел на сцену из своей, под потолком, ложи с прожекторами и злился. Потуги, потуги, не больше, опивки. Сходил в „Комеди Франсэз“, в „Театр де Пари“ — все то же, орут, прыгают, проваливаются, цирк какой-то, очевидно, думают, что так было у Мейерхольда. Классика — Расин, Мольер — туда-сюда еще, а вот посмотрел „Вишневый сад“ („Питер Брук! Как, вы не были еще на Питер Бруке?“) — и просто растерялся, все действие — почему-то лежа. Раневская, Гаев — все на полу. В фижмах, рюшках, пышных юбках — и на полу. И Гаев в сюртуке валяется. Поместье еще не продано, а мебели — нет. Что все это значит? Новации? С „Трех сестер“, со второго акта, убежал. Тузенбах и Соленьий в ярко-красных штанах хлещут коньяк „с горла“. Нет, это не театр.

Ашот ушел из „Одеона“ и устроился звукооператором на телевидении. С сослуживцами вроде бы поладил, даже привык, что ровно в двенадцать надо идти в кафе чего-то пожевать — никакая сила не заставит французов в эти часы работать, — привык и к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах уславливаются за месяц, водки не пьют, поллитра на троих для них смертельная доза, в метро места даме не уступают, и это галантные французы, где ж д’Артаньяны? Бывший мушкетер все выискивал — и обнаружил только бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще, французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице останоятся, обнимутся ни с того ни с сего — и вза-сос. Потом понял, что он сам ханжа советской выучки, и общая раскованность, безбоязненность, легкость и свобода поведения стала даже нравиться. Развалились в своих маечках, а летом и просто в трусах, на лестнице у Сакре-Кёр, бренчат на гитарах, и никакой мент к ним не подойдет: „А ну, марш отсюда, чтоб духу вашего не было!“

В Париже, выполнив положенное — Лувр, Роден, Ар Модерн, Оранжери, Жё де Помм, Эйфелева башня, — понял, что самое приятное — просто шататься, каждый раз открывая что-то новое. У Париже свое лицо и в то же время разное. В районе парка Монсо, там, где они жили, на всех этих рю Мурильо, Рембрандт, Веласкез, тихие особнячки богачей, четырех-пятиэтажные, с лепными фасадами, с кариатидами „отели“, что значит просто приличный доходный дом, тоже не для бедняков. А возле гар дю Лион подозрительные, полутемные, грязные переулки, полно арабов, чужая речь, что-то тревожное. На Сен-Дени, Пигаль — цыпочки стоят в подъездах, крутят на пальце ключи, значит, все в машине будет происходить... А как хороша пляс де Вож — площадь Вогезов — с Людовиком XIII посередине, тем самым, нашим, родным, мушкетерским. А кругом — недавно посаженные липы. Старые — вымерли от какой-то букашки, и устроен был референдум — сажать ли новые или обнажить фасады XVII века, розовые, с высокими трубами, черепичными крышами. Победили любители флоры. В одном из этих домов жил Виктор Гюго.

Пристрастился к книжным магазинам. В основном, побаивался их, все время хотелось что-нибудь купить, то Сальвадора Дали, то Моне или Рембрандта, то „Холодное оружие XVI-XIX веков“ или „Замки Луары“, то два толстых тома „Второй Мировой войны“ или тоже двухтомник „Улицы Парижа“... В русском, советском „Глобе“ руки тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову — в Москве, Ленинграде только в подворотне, за пазухой у спекулянта найдешь, а здесь лежит себе, бери сколько хочешь. Ну, а у Каплана на рю д'Эперон или в магазине ИМКА — море разлитое антисоветчины. Первые месяцы Ашот просто не в силах был переварить все это обилие, этот низвергавшийся на него водопад эмигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы. И „ГУЛАГ“, Андрей Синявский, неизданный Платонов или ахматовский „Реквием“. Ну, как все это переварить?

С ныне живущими эмигрантами сблизился не очень. Писателей сторонился, все они между собой более или менее переругались, с художниками встречался, кое с кем из тех, кого знал еще в Ленинграде, актеров не было совсем. Сделал попытку организовать какой-то кружок, студию, ничего не вышло. На „голом энтузиазме”, по ночам, в подвалах — в Париже это не прошло.

Жизнь вел, в общем, замкнутую — на работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор.

Кино! Вот тут первое время просто безумствовал. Кроме новинок, боевиков, пересмотрел всех Феллини, Висконти, Антониони, Бергманов — все время где-то мелькают то „Ночи Кабирии” (лучший, лучший из фильмов!), то „Рокко и его братья” с молоденьким еще Делоном, то „Римские каникулы” (подумать только, сейчас Одри Хепбёрн пятьдесят!), то фестиваль Хичкока. Сойти с ума! Впервые увидел популярного до сих пор, увы, покойного уже Брюса Ли — короля карате, кунг-фу. Маленький, ловкий, всех избивает. Ринулся, конечно, и на порнофильмы. Ну их! Долго, обстоятельно, со всеми подробностями, во всех ракурсах, чудовищных размеров. Стенания, вздохи, чмоки, прерывистое дыхание. Все это, оказывается, записывается потом отдельно. И главное — скучно. Забавнее — вампиры, Дракула, но и тут после третьего уже не хочется ходить. Но вообще — раздолье...

Квартирка их была маленькая, всего три комнаты, на третьем (по-русски на четвертом) этаже, без лифта, это не очень устраивало Рануш Акоповну, зато район хороший, рядом парк Монсо. В хорошую погоду можно взять книжечку — Пьера Жильера, например, воспитателя цесаревича Алексея, „Тринадцать лет при русском дворе”, — и, устроившись в тени на аллею Контесс де Сегюр, тихонько себе читать, а рядом мраморный усатый Ги де Мопассан, к которому тянется бронзовая дама в платье с турнюром, и детишки кругом, и их мамы, читающие книжки, и сторож со свистком во рту — не ленится и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на травке.

К концу второго года поднапряглись и обзавелись маленьким, подержанным „Рено-5”. Водила Анриетт. Ашот все собирался пойти на курсы, да как-то не получилось. В Париже машина не очень нужна — пробки, заторы, — но на „уик-энды”, которыми французы, в основном, и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться, в старинный, живописный Провэнс, в Фонтенбло, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. Строились планы, копились деньги, чтоб следующим летом поехать куда-нибудь на юг, очень хвалили маленький, уютный Коллюр на берегу моря, возле испанской границы. ◦

Вот так и жили. Не роскошествуя, не позволяя себе лишнего. Заработков хватало, хотя к концу месяца часто случалось, что в извещении из банка (да-да, „Креди Лионэ”!) цифра на правой колонке „Кредит” перекочевывала в левую „Дебет”, что значило — какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало не часто.

А чаще всего — это происходило по ночам, когда не спалось, — Ашот ловил себя на том, что хотя он уже и француз, но плевать ему с десятого этажа на все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной у рта в парламенте, чего-то требует партия Ширака, а чего-то Жискара с Барром, и на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность, он тоже плевал.

И эти вечно чем-то недовольные „агрикультёры”, нашим бы колхозникам их заботы. Не интересуется это его, ну вот ни-сколечко. А вот что там, в далеком Питере, как там Ромка с фильмом — затеял, полез-таки, несчастный, в режиссуру, — вот это волнует. И что в его, казалось бы, осточертевшем Ленинграде происходит? Писали, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое, далекое, но свое. Мать с Эткой над ним смеются, он нет-нет, да и купит в „Глобе” „Литературку” или „Советскую культуру”. Вот и интересно. Какие новые фильмы, кто что сыграл на сцене, какое звание получил (подумать, Кирилл Лавров уже Герой соцтруда!), а кто и концы отдал. В „Глобе” сдружился с директрисой

Ольгой Михайловной и она разрешала ему на субботу-воскресенье брать „Новый мир”, „Юность”, кое-что и там появлялось. В том же „Глобе” купил Шукшина, Распутина, Трифонова, прозу Окуджавы. Ну, а кроме того — живые москвичи, ленинградцы...

Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом не пробиться сквозь толпы американцев, англичан, немцев (западных, в основном), не говоря уже о японцах. Они везде, всюду, и все с „Канонами”, „Никонами”. И среди этой массы — в шортах, джинсах, майках, свитерах, босоножках и в тяжелых горных ботинках на толстой подошве — маленькие, но плотно сколоченные группки людей в серых пиджаках и болтающихся брюках. Это советские туристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в Бобуре, но, главным образом, в магазине „Тати”. Оттуда их не выгонишь — там все дешево. Дрянь, но дешевая и все-таки — парижская.

Но это туристы, у них маршруты, строгий распорядок, к одиннадцати, кровь из носу, быть в гостинице. А есть категории и повыше — приехавших по приглашению. На месяц, два, три. Эти живут у друзей, ходят больше по „Лафайетам”, что не мешает — это уже в последние дни — и в „Тати” заглянуть. Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озираются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с кем-то не встречаются, но потом — парижский воздух, что ли? — срываются и эх! была не была! Соглашаются, идут, встречаются...

Так разыскали Ашота актеры театра Ленинского Комсомола, гастролировавшего в Париже, встретился он кое с кем и из моисеевцев. Побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Симакиным из Ленконцерта, приехал тот с какой-то делегацией. От него и узнал, что Роман ударился в режиссуру, задумал и даже запустил собственный фильм то ли про Пушкина, то ли про Лермонтова, Вовка точно не помнил, нет, про декабристов, кажется, но Пушкин и Лермонтов там появляются. Это ему уже Ветряк говорил, его пробовали на одного из них. Промелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гимнастка, приехала на соревнования в Страсбур-

ге. Все они были ошарашенные, растерянные, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валя Брудер, из ТюЗа, по прозвищу „Тюлька”, он приехал простым туристом, сказал: „А имел я их всех в виду, покажи мне что-нибудь про совокупление”. И они пошли на полупедерастическую картину „Любовь вчетвером”. Тюлька был в восторге. „А? В матушке Москве такое? Ходынка, проломленные черепа...” Прощаясь, Ашот преподнес Тюлке номер „Плэйбоя” с большой раскладывающейся картинкой-портретом обнаженной девки не в самой пристойной позе. „Дай второй! Я таможеннику суну. Век будет благодарен. А этот przewезу, будь спок!”

И вот, на фоне всех этих событий — приездов, отъездов, сидений в кафе, ста граммов с оглядкой („а нельзя ли загнать фотоаппарат, а?”), хождений в „Тати”, изредка даже в музеи, так вот, на фоне этих событий произошло еще одно, весьма знаменательное.

В один прекрасный день, как писали в старину, хоть день был серенький, дождливый, вечером, где-то уже после одиннадцати, в дверь раздался звонок, вещь в Париже необычная. Ашот даже спросил: „Кто там?”. В ответ что-то промычало.

Ашот открыл дверь и... О, Господи! Жискар д’Эстэн, Президент республики. В пальто, в шляпе, с зонтиком в руках, Ашот даже попятился. И вдруг движение, ра-два, Жискар исчез и перед ним Роман... Ромка Крымов!

О! Это мгновение! Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст — все те же, любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают, — о, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча, — они были произнесены. И повторены. И Ромка затащен, усажен на почетное место, иными словами — в кресло, которое без особых на то оснований называлось „вольтеровским”.

— В память о тебе купил. А твое, твое, с вылезавшими пружинами, живо еще?

— Да живо, живо...

Не знали еще, о чем говорить.

Роман озирался по стенам, разглядывал обстановку — „не очень-то буржуазно, где ж камин?“, — увидел фотографию над письменным столиком, где они втроем в плащах и шляпах с перьями...

— Не забыл? Помнишь?

— Хо-хо!

Женщины заметались, вынимали что-то из холодильника.

— Чем же нам тебя угостить, Ромочка? Что это, Ашютик, бургундское?

Рануш Акоповна совсем растерялась — одна бутылка, и то начатая.

— Бутылка? А это что? — в руках у Романа блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями.

— „Столичной“ не побрезгуете? Прямо от Елисеева. — Он шикарным жестом поставил бутылку на стол. — Ну, так как тебе мой Жискар? Вернее, твой, ваш. Поверил, признайся?

— Да тут любого Брежнева можно купить, не удивишь... Карнавальные маски.

Женщины успели уже прихорошиться, Рануш Акоповна накинула даже оренбургский платок, свою гордость.

— Ладно, к столу. — Анриетт стала тащить Романа из кресла, он в шутку сопротивлялся.

— Не взыщи, Ромочка, — извинялась Рануш. — Как говорится, чем богаты, тем и рады. Чего нет, того нет.

— Нет? — Роман расхохотался. — Это у Елисеева нет... Сыр, правда, бывает, до десяти утра, — он ткнул пальцем в аппетитный кубик с дырочками. — Ветчина — как повезет, паштет такой вообще никогда, исключено. — Роман стал разливать водку по граненым стаканам. — Ладно. Так вот, — и Роман произнес пышный тост в честь исторического собрания общества Франция — СССР, нет, ну его в баню, Париж — Москва — Ленинград, и по этому случаю... — Короче, ахнули! И чтоб до дна у меня.

Ахнули, крикнули, понюхали по русскому обычаю, Рануш Акоповна поперхнулась, замахала руками, Роман тут же потянулся опять за бутылкой.

— Последуем совету Антона Павловича. В каком-то рассказе у него, не помню каком, говорится: как хорошо, войдя с морозу в теплое помещение, выпить рюмочку водки и... сразу же за ней другую... Последуем же его совету.

И последовали. И стало совсем хорошо.

— Ну, посмотрите друг на друга, не таясь. Три года все же, не хрен собачий. Рануш Акоповна все молодеет, цветет...

— Да ну тебя, Ромка, скажешь еще... — она даже вроде смутилась.

— Мария-Антуанетта совсем расцвела, как альпий цветок. Слушай, слушай, а ты не беременная, а? А ну, встань. Да ты не красней, признавайся.

— Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся, — Ашот похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены. — Ну, а ты, Ромка, малость того, возмужал, что ли?

— Возмужал, возмужал. На почве успехов.

— А есть они?

— Есть.

— И такое бывает еще у нас?

— У нас? У вас? Ты ж, говорят, француз уже.

— Француз. И все равно — у нас. Так что, случается еще?

— У меня вот случилось. Нежданно-негаданно, а у.б нашего министра, у.б Ермаша. Простите, дамы, но другого глагола не подберу.

И начал рассказывать, как это произошло.

В этот счастливейший из вечеров — вернее, ночь — все были возбуждены. Но Роман особенно. Говорил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам тут же на них отвечая, опять задавал, делал вид, что слушает, ахал, охал, пересыпая речь — дамы ему сегодня прощали — все теми же обиходными словечками.

— Фильм как будто бы ни о чем, — начал он рассказывать.

— Он, она, еще один он, еще одна она. Называется „Любовь вчетвером“. Не пропустили.

– Тю-ю! – присвистнул Ашот. – Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из ТЮЗа, без зуба переднего, смотрели порно под таким же точно названием. „Л’амур ан катр” по-французски.

– Амур не амур, – отмахнулся Ромка, – но у меня что-то вроде любви. Чистейшей, разумеется, советской, без всяких этих ваших штучек. Но это только канва, внешний рисунок, отнюдь не главное. И все равно к этому, хоть и не главному, а придрались... Да, а ты знаешь, что у нас чуть-чуть не пустили „Агонию”?

– Климовскую?

– Именно. Почти на выходе уже была. Потом оказалось, что Николай II слишком красивый и добрый, а Распутин недостаточно развратен.

– И на полку, сволочи?

– Бесповоротно... Так вот, на последнем просмотре сказали мне... Нет, на предпоследнем. Что ж это вы, Роман Никитич, думаете, мы совсем безмозглые, ничего не понимаем? Нет, что вы, товарищи, говорю, наоборот, именно к вам апеллирую, как к людям знающим и понимающим. И тут же, не дав им пикнуть, произнес в высшей степени патриотическую речь. Расхвалил Бондарчука, он тут же сидел, не помню уже за что, за ум, талант, за „Войну и мир”, „Они сражались за Родину”, вспомнил Васю Шукшина, он у него там играл, теперь Вася у нас классик, пароходы его имени, библиотеки. Кстати, ты его знал?

– Нет... Видел только. На каком-то просмотре.

– Отличнейший парень, прямой, честный, бухарик, правда... Давай-ка за помин его души. Нет уж таких...

„Столичную” благополучно закончили. За ней последовало то самое бургундское, начатое. Потом обнаружена была недопитая бутылка коньяка.

– Зажал, думал, перед сном. Без дам... Ты же у нас останешься?

– А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в уголке.

– Не боишься?

– Кого?

— А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал?

— Союза кинематографистов. На Каннский фестиваль. Нет, не член делегации, отнюдь, но разрешили за собственные шиши присоединиться, вроде член и не член, консультант не консультант, Бог его знает...

— Без стукача, что ли? Потому такой храбрый?

— Как так без стукача? Разве можно? Такого не бывает. Но он у нас безобидный, ты его должен знать, долговязый такой, Арнольдом зовут, фамилию забыл, с „Мосфильма”, завпроизводством... Да, но вернемся к нашим баранам.

К баранам возвращались раз двадцать, опять от них уходили и возвращались, но в конце концов все же выяснилось, что картина после доделок, переделок, поправок, переозвучиваний, пересъемок, получила, наконец, добро. Сейчас печатают. И даже приличное количество копий — сто двадцать. Называется теперь „Разрешите помечтать!”. Название, конечно, говенное... А фильм, по сути, антисоветский. Ну, не то чтоб совсем антисоветский. Снаружи все гладко, а копнешь... Такой, например, эпизод...

У дам постепенно начали слипаться глаза. Их отправили спать. А сами устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно, да и вообще, о сне не могло быть и речи.

— Да, слушай, а где ты работаешь? — спохватился вдруг Роман. — Трешюсь, трешюсь, а до сих пор не спросил, неловко даже как-то...

— На телевидении.

— На телевидении? А у нас знаешь, что произошло на нашем центральном? Сенсация, — и рассказал облетевшую Москву историю про завкадрами московского телевидения, который, то ли спяну, то ли спятив, на каком-то собрании во всеуслышание заявил, что хватит, мол, врать, давайте народу иногда и правду-матку преподносить. Ничего себе кадровик? Ну, его сейчас же под белы ручки и в дурдом... Видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили?

Так проговорили они всю ночь. Ашот даже на работу опоздал.

Расставаясь, Роман сказал, что у них на завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным, но он на нее плевал, не пойдет и надо обязательно опять встретиться. Остановились они, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного „Монталамбера”, в отеле „Каирэ”, малость похуже, но, в общем, терпимо.

— Ну, на отель мы сегодня плевали, ты у меня. А завтра — Париж!

7

Ашот часто вспоминал со своей Анриетт сомнения и терзания, одолевавшие их в Ленинграде до того дня, когда он сказал ей наконец: „Все! Едем! С завтрашнего дня начинаю собирать бумаги...”

И началось.

Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость рассеялся. И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило, это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь — все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было „сметено могучим ураганом”, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там или не дети, земля предков и всякое такое, а если в корень глянуть, от въевшейся во все поры советской власти. Осточертела голубушка. А кому и кое-что прищемили.

Ну, а он, Ашот? Задохнулся? Да нет. Дышать, правда, трудновато было, иной раз и на луну завоешь, но, в общем-

то, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не делали, с работой более или менее благополучно. Ну „Лебединый стан” Цветаевой или мандельштамовское про кремлевского горца с эстрады не прочтешь, но иногда что-то, не самое просоветское, нет-нет, да и втиснешь. И радуешься. Жванецкий, например. Иной раз просто оторопь берет — и ничего, сходит. Вот и Ромка. У.Б, как говорит, Ермаша и счастлив, как дитя.

Сейчас он сидит в „Эскуриале”, сосет ледяной „Хейнекен” и тоже счастлив. В Париже он впервые, и все ему интересно. „Нет, никакого метро, только автобус или пешком, обожаю пешком...” И они, от парка Монсо — было воскресенье, на работу не надо — до бульвара Сен-Жермен шли пешком. По бульвару Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков внутрь, поглядеть на шагаловских коз, летающих на потолке зрительного зала, потом по рю де ля Пэ, мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пересекли Сену и по бульвару Сен-Жермен дошли до „Эскуриала”. Сначала Роман останавливался у каждой витрины, но так до своего кафе они никогда и не дошли бы, и Ашот, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварщиков и оружейных магазинов.

— Хочу кольт! Кольт хочу! — орал Роман так, что на него все оборачивались. — Вот тот, видишь? И „Смит и Вессон” тоже! Без них не вернусь домой, так и знай.

— На границе отберут.

— У меня? Пусть попробуют.

— Не только отберут, но и оштрафуют.

— Поспорим. Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь, кольтик, ты мой!

(Забегая вперед — засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему Ашотом, кольт с двенадцатью патронами благополучно пересек все границы, и две вороны были убиты из него в Болшево...)

Зашли, понятно, и в книжный „Глоб”. Романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шукшинных, Мандельштамов, Цветаевых, Сименона и Агаты Кристи... Глаза горели, щеки пылали, уста шептали нечто невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление („не очень, правда, сталинградское”, — острил потом Ашот), куплен был однотомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова...

— Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой. — Ромка не раз пропускал с ним по маленькой. — Покупаю твою книжку в Париже, подумать только... В Париже...

Вечером Роман уехал в Канны.

— Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его, новый ваш центр...

— Помпиду?

— Вот-вот! Лувр отменяется. В следующий раз.

Вернулся он через неделю, не дождавшись конца фестиваля.

— А ну его, голова кругом идет. И ни черта не понятно. Отпросился в Париж. Покряхтели, но пустили. Кулиджанов неплохой, все-таки, парень.

За три дня они успели много. Ромка был неутомим. Ашот только радовался. Все пять этажей Бобура, он же Центр Помпиду (выставка „Три М” — Модильяни, Магрит, Мондриан), Роден, Жё де Помм, импрессионисты, Оранжери, Эйфелева башня („Смеешься? А я полезу!”), прогулка по Сене на „бато-муш”, Версаль, Фонтенбло — и в общем-то, все один, Ашот с Анриетт на работе, освобождались только к вечеру. Сходили и в „Фоли-Бержер” („утомительно, однообразно и очень уж их много”), прошлись по злачной Пигаль („Эх, деньги бы, — вздыхал Ромка. — И молодость, и молодость и счастье вно-овь, как точно подметил товарищ Гремин...”). Посидели и в ресторане. Выбран был небольшой, в районе Бастилии, под названием „Галоша”, кажется, овернский, Овернь — сердце Франции. Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, по-овернски „галош”. Ели устриц, улиток — Роман первый раз в жизни, — обжигались луковым

супом, потом жиго и еще что-то, пили божоле, закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках...

— Уф! — Роман украдкой расстегнул пояс. — Танков на вас не хватает, гадов. Вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки-эскарго, и перестанете вы гнить... Понюхаете нашего зрелого, развитого... Ох, не могу... Давай еще по коньячку ударим, на прощанье, так сказать...

Возвращались домой пешком, метро уже не ходило, а на такси не было денег, все проели и пропили.

Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждая ни в чем, но в общем-то с грустью.

— Слава, слава... — вздыхал Роман. — Помнишь, я тогда еще, в первые же дни, говорил тебе — не выдержит. И не в деньгах дело — деньги деньгами, но главное — простор, предложения, выбирай только. Ухватил жар-птицу за хвост, держи крепче, не разжимай кулак... Ты в чем его видел, в „Спящей“?

— Нет, концерт, с бору по сосенке. А в телевизоре, знаешь что? Не поверишь, в „Дон-Кихоте“.

— Дерьмо балет.

— Дерьмо. И при чем там Дон-Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред! И это после его Адама в „Сотворении мира“. Помнишь, по Эйфелю?

— Помню ли... Сколько выпито было после этого.

— А здесь — тьфу! Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.

— Куры, куры... Кстати, он не спрашивал у тебя, когда вы встретились?

— Нет, не спрашивал.

— Ты знаешь, о чем я?

— Знаю. Нет, не спрашивал.

Оба вздохнули. Так не похоже на их Сашку.

Роман повернулся вдруг к Анриетт, она как всегда помалкивала, слушала.

— А знаешь, мне твой муж нравится, нравится, как он

держится. Ей-Богу. Ладно, жар-птица, как Сашке, не подвернулась. Ну и что? Телевидение? Не самое интересное в жизни? Ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете...

— Все имеют.

— И квартиру, не перебивай, и не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа... И на все ты положил эту самую штуку.

— Ну, как сказать.

— На все! Настаиваю на этом. Парторганизации нет, раз, месткома нет, два. Самой прогрессивной общественности и собраний — три. Никто не стукнет, что пьешь, болтаешь лишнее или левые ходки от жены скрываешь, пардон, мадам... Это с этой стороны. А с той? С вашей... Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, того не забыть на премьеру пригласить, того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты? Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар, поехал на Мадагаскар...

— Десять тысяч туда и обратно!

— Умолкни! Слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтоб в эти Канны попасть? Плевал я на них, на все эти фестивали — тебя хотел увидеть. И увидел! Живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но — свободным! Понял? Свободным! Ну, давай за свободу... Мудило!..

Ашот часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. И на вокзале, Гар дю Нор („Обязательно будь, проводи, плевал я на всех!“), в последнюю минуту, соскочив с подножки, как тогда Ашот на Финляндском вокзале, заключил его в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул: „Завидую! Черной, грязной, мерзкой завистью... Завидую...“

А он, дурак, завидовал Ромке. Тот долго махал ему из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Ашот постоял, постоял и пошел в буфет.

Вот так, три друга... „Модель и подруга”, вылезло вдруг откуда-то и весь день вертелось в голове. „Три друга, модель и подруга...”

В этот день Ашот напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе „Терминаль”, посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще...

Вокруг Ромки суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя, тремя. А у Ромки один, маленький, и авоська. И кольт, и Булгаков со Шпаликовым, и ни одной рубашки, только джинсы, которые ему силком всучила Анриетт... Он спрашивал, между прочим, у Романа про Веру Павловну, присылает ли ей Сашка какое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последней сволочью — первое время заходил, потом все реже и реже, последний раз забежал с полгода тому назад. Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может, и четыре, звонил. Прислал как-то шубу меховую и какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо, надо... Нельзя так бесчувственно относиться. Ромка опять стал себя поносить.

Может, это больше всего поражало в Сашке и Ашота, и Романа. Ведь так любили друг друга, он и мам, так дружили. И вот, за три года три звонка, четыре. Шуба, кофточки... Не укладывалось в голове.

Закончил свое скитание по кафе Ашот где-то на Порт д'Орлеан и то лишь потому, что иссякли деньги. Взял „де-ми” — кружку пива и пару сосисок. Смотрел на прохожих, сосал свою трубочку.

То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал, провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрезает. Ни писем, ни звонков. „Ты уже забыл, какие мы, — говорил ему один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. — За три года чисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха свободы и размагничиваемся, иной раз даже стукача своего по-

шлешь подальше. А возвращаемся домой, и сразу в свою скорлупку, всего боимся, лишнее слово сказать. Серуны, что поделаешь, так воспитали...”

Домой вернулся поздно. Ни мать, ни Анриетт бровью не повели, всё поняли.

8

А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор (главным образом, для Рануш Акоповны), чтение, изредка – кино. Очень даже изредка. Анриетт удивлялась.

– В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал, а тут даже на Феллини и Бергмана не затынешь. Пойдем мы, наконец, на „Механический апельсин” или нет?

Ашот сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время, пассивности, потом понял, что там, дома, рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтоб на них посмотреть, но чтоб окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь, посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвэям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосыгаемые эти соблазны под боком, разве что камина нет. К тому же и психологические извивы вокруг любвей и измен перестали трогать и не все понятно, а когда субтитры – и вовсе путаешься. И если ходил он раз в три-четыре месяца в кино, то, главным образом, на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается.

– И вообще, – говорил Ашот, – выяснилось вдруг, что я почти ничего не читал, преступно мало. Открыл вот Марка Алданова, замечательный писатель. А кто у нас его знает? Или Набоков. Слыхал только, что есть какая-то очень неприличная „Лолита”, а он, оказывается, наворотил Бог знает сколько. Я невеликий любитель стилистов, утомляют они меня, но вот читаю сейчас „Другие берега”, штука автобиографическая, оторваться нет сил. Великий писатель. А у нас считается порнографическим, запрещен.

Ашот записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг — читатель он был аккуратный, и ему разрешали брать по десять-пятнадцать зараз. В основном, русских. С французскими было хуже, без словаря не шло. У Анриетт была своя полочка — в основном, стариков, к нынешним новшествам и „новым романам” она относилась сдержанно.

Ну, а Мадагаскар? Тот самый, на который, по мнению Романа, Ашоту всегда можно поехать? Далековато... Но вот во Флоренцию взяли как-то да и двинули. „Черт знает что, — сказал по какому-то поводу, просто так, к слову, Ашот. — Приехали в Париж и сидим как вкопанные, а рядом Швейцария, Италия, всякие там Шильонские замки, галерея Уффици...” Анриетт посмотрела на него и сказала: „Давай поедем в Уффици. А? И на Давида посмотрим”. И они поехали смотреть Уффици и микеланджеловского Давида. Подвернулся „мост” — уик-энд плюс какой-то праздник и два дня отгула, покупку нового холодильника отменили, сели в свой „Рено-5” и покатали через леса и горы, туннель под Монбланом, во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.

Но в общем-то, жизнь текла тихо и спокойно — работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю.

И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал Ашот, но трубку все же снял.

— Ж’экут, — сказал он по-французски.

— А по-русски нельзя? — раздался знакомый голос.

— Ч-черт! Сашка!

— Он самый.

— Откуда?

— С де Голля вашего, аэропорта.

— Ясно, — Ашот рассмеялся. — Деваться некуда?

— Не будь сукой.

— Прости, но ты знаешь, который сейчас час?

– Повторяю, не будь. В твоём возрасте в этот час надо как раз у них, у блядей, быть, а не дома валяться.

– Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?

– Сволочь, почему ты так со мной разговариваешь?

– Потому что заслужил. Я злопамятный.

Воцарилась пауза. Потом донесся Сашкин голос:

– Ну, виноват, виноват, виноват, знаю. Зачем топтать?

– Ладно. Давай как коммунист с коммунистом. К девяти мне на работу. Позвони в 8.15, тогда условимся. Идет?

– Идет. – Сашка повесил трубку. Вроде обиделся.

– Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам?
– спросила разбуженная звонком Анриетт.

– Чтоб знал... Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лисабон, там туман, не приняли, вот и сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к такому.

– Поэтому и надо было...

– Нет, не надо.

– Но это ж Сашка.

– Тем более.

На этом разговор кончился.

Ровно в 8.15 Сашка позвонил.

– Есть два предложения, – сказал Ашот. – От часу до двух, когда у меня перерыв, или после шести на целый вечер.

– Конечно, второе. Денег у меня вагон.

– А я думал, ты скажешь и... и... И днем, и вечером.

– Вот сука. Я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...

– Ладно, отряхнись и к шести тридцати изволь пожаловать в кафе „Эскуриал“. Это метро „Рю дю Бак“, выйдешь, сразу увидишь, на углу бульвара Сен-Жермен.

– Ясно. В шесть тридцать.

Они провели вместе двенадцать часов кряду – с семи вечера до семи утра. Расстались, в последний раз обнялись и расцеловались на том же „Шарль де Голль“, в аэропорту – Ашот не ошибся, не в Лондон, правда, и не в Лисабон летел Сашка, а на Цейлон, и из-за чего-то в Париже произошла задержка, на целые сутки, даже больше.

Двенадцать часов кряду... Развалившись в креслах аэропортового кафе, усталые, обессиленные, потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, сопровождаемое всё теми же, достаточно известными выражениями, произошло в „Эскуриа-ле”, потом, без похлопывания, но с выражениями, из кафе в кафе (одна юная туристская парочка из Цинциннати задержалась у их столика — стоявшего прямо на улице, и произнесла — „Простите, мы так давно не слышали родного мата. Музыка...”). Итак, в порядке очередности — „Флор”, „Де Маго”, „Лиш”, „Аполлинер”, „Клюни” — это все на Сен-Жермен, — затем Муфтар, это за лицеем Анри Катр, что-то на острове Сен-Луи, греческие в районе Сен-Мишель и что-то еще ночное возле Гар-дю-Нор, оттуда, когда уже было совсем светло, электричкой в Руасси, аэропорт „Шарль де Голль”. В общей сложности то ли двенадцать, то ли тринадцать приземлений. Устали, но не опьянели, хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. В промежутках, от кафе до кафе, набережные, мосты, пустынные площади, ступени Пантеона, переулки, закоулки, скверики, одну из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым Вольтером... О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног два эмигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрекся, обомлев от того, что происходит сейчас на свете.

О чем же говорили эти два русских интеллигента, один — взошедшая и ярко сияющая звезда с вагоном денег, другой, ну что другой — средний французский трудящийся, как сам он себя окрестил. И оба — изгой, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И три года, даже больше, не видевшиеся. О чем же они говорили?

Для затравки, сидя в метро, Ашот придумал этакий шутивно-горький монолог, речь прокурора. Звучать она должна была так:

— Господа присяжные заседатели. Перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил,

не изнасиловал, ни одного из писанных законов не нарушил, как не нарушили великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину, человек, который, напротив, талант свой, талант своего народа, подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что ж привело его на нее? Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрадал самое святое и возвышенное, что есть в жизни, — дружбу.

Прекрасный, как казалось Ашоту, монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было, а, во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв кверху руки.

— Хенде хох! Сдаюсь. На милость победителя, — и тут же разлил по второй. — Пойми, несчастный, меня засосало, просто за-со-са-ло... Я попал в какой-то вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтался... Ведь я, уезжая, не думал бежать. Поверь мне. Все получилось как-то само собой. Не знаю даже как. Вдруг понял — нельзя возвращаться. Увяну, скисну... А тут... сам понимаешь...

Ашот молчал, слушал, жевал омлет с ветчиной, Сашка опять разлил.

— Легче всего обозвать меня говном. Зазнавшимся, возомнившимся, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл... Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь? Понимаю, есть основания... И про маму мне тоже не говори. Очень прошу. Казнюсь, казнюсь! Ладно, пошли, лхаим...

Выпили.

Да, в этом „казнюсь, пошли!“ был весь Сашка. Перед ним сидел всё тот же Сашка тех лет, вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость, совсем не изменившийся, импульсивный, самовлюбленный, но, в общем,

свой. И Ашот понял, что не может на него сердиться. За это? Так уж устроен человек. А в дружбе — пусть он даже изменил ей, а Ашот нет, до сих пор верит, — может быть, самое главное в дружбе — умение понять и прощать. Но было еще одно, чего он не прощал.

Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще, оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано: „Беседа — взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, обмен чувств и мыслей на словах”. Ну что это за определение — да простит меня великий Даль? В нем нет главного — души. О каком обмене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, водовороты, всплшки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья... Так вот, четвертый час они разменивали свои чувства и мысли и только, когда устроились на ветхой лавчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу Сены у Понт-Рояль, Ашот заговорил о том, что больше всего его тревожило.

Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как-то прорывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, шепчущаяся у подъезда парочка — все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В их мушкетерской троице он был самым серьезным.

Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу, на самом верхнем этаже, светилось большое окно, очевидно, мастерская художника, а на мосту тускло горели типично парижские фонари — молочный шар, а на нем шапочка. И не привычная, правда, Нева, а Сена катила у их ног свои черные, жирные от масла, волны.

— Сашка, — начал он. — Хотя я и знаю: „Что наша жизнь? Игра”, но именно поэтому, и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацию.

— Песталоцци? — рассмеялся Сашка.

— И Поццо ди Борго заодно. Только тот, корсиканец, был русским послом в Париже после Наполеона, а ты просто Поццо, как был им, так и остался.

Подвыпивший Ашот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька. Сашка, мол, не понимает, какая миссия ему выпала. Стоило ли драпать, чтоб тратить время и силы на всяких минкусовских Дон-Кихотов? Это ж забивание гвоздей микроскопом. Собачий бред, халоймес.

— И тебе же самому скучно, сознайся. Неужели для денег? Не верю! И неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал: „Мистер Куницын, давайте перевернем мир! Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами не знаю что, — „Божественную комедию“, „Илиаду“, Арт Бухвальда, на худой конец“. Неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд пруди. И все они филантропы, не знают, куда деньги сунуть, чтоб поменьше налогов платить. Неужели среди них ни одного меломана, балетомана, мудака, в конце концов, которого можно охмурить? Ты ж у нас обаяшка по этой части.

Сашка слушал молча, не перебивая. Ломал какую-то веточку, бросал в воду.

Ашот вспомнил „Шинель“, которой увлекся перед самым его отъездом. Акакий Акакиевич!

— А может, и не Акакий Акакиевича, а саму Шинель сыграть? Мягкую, уютную, обнимающую со всех сторон, пелеринки развеваются, ветер, ночь, пустынная площадь... И исчезает с грабителями. Так ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель, капот — тоже ты. Жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах. Одетта и Одиллия... Ах, Сашка, Сашка, само ж просится...

— Ты кончил?

— Кончил.

— Дай-ка мне твою трубочку.

Ашот протянул свою старую, прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения, высшего

доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь — жену, коня и трубку не уступают никому. И только с Сашкой Ашот изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось.

Сашка прикурил, затянулся несколько раз.

— Видишь ли, Ашотик мой дорогой.

Ашот уже по этому „видишь ли” понял, что весь его заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть, и задев — кто не хочет быть Нижинским, особенно, когда говорят, что он именно ты, — но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного и так мало огня и задора, которые так отличали Сашку от всех других.

— Сашка, ты ли это? — не удержался он.

— Я... Нет, не я, Ашотик, Америка! Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионеров пруд пруди? Верно. И балетоманы среди них есть. Но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, ни Морозовых, есть дельцы. И от балета тоже. Да на кой хрен ему твоя „Шинель”, которую он никогда и не читал, Гоголя с Гегелем путает, когда его устраивают мои антраша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги, и находит режиссера, сколачивает труппу, а на то, буду ли я танцевать Фавна или Папу Римского, ему глубоко наплевать. Был бы я! А я еще котируюсь. Все же, как-никак, Кировский, они считают его лучше Большого, и бежал, и относительно молод, и морда не самая отвратная, и сердце пока не подводит, верчусь, прыгаю, что еще надо? И не надо им никаких Дягилевых, Нижинских, Павловых...

— Но нам-то они нужны, нам, русским!

— Аркадий, не говори красиво.

— Отдай тогда трубку.

И разговор увял. Какое-то время сидели молча. Потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной, в сторону Сен-Мишель. Потом уже Ашот, с недоумением и горечью, спрашивал сам себя, почему не выпалил он Сашке — Дягилев не Дягилев, но я-то рядом... Я — друг, наставник, Песталоцци, знающий каждую твою черточку, каждое движение, всего тебя с головы до ног... Не выпалил. Почему? По-

снялся? Сашки? Бред. Но вот, поди ж ты, промолчал. А тому в голову не пришло. Чепуха! Пришло! Не захотел. Влип. Аме-ри-канизировался.

— А может, в отель ко мне зайдем? — спросил Сашка. — У меня еще бутылка там есть.

— Неохота что-то... Пойдем лучше на вокзал, Гар-дю-Нор. Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?

— Надо ж вещи еще забрать. Самолет в восемь.

Пришлось зайти в отель, взять вещи — плащик и чемоданчик крокодиловой кожи — „Шикуюшь, брат?“ „Шикую. Есть и другой, из кожи бегемота, а фулиж...” Бутылка оказалась коньяком, ее-то они и раздавили у ног Вольтера.

9

В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии, но, проводив Сашку в аэропорт, Ашот не пошел ни на работу (туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен), ни домой, а продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто — дай триста франков. Тот сейчас же дал, но — и это кольнуло, как и в прошлый раз, — не предложил больше, и вообще материальным благополучием не поинтересовался ни разу за всю ночь.

Ну вот, — думал Ашот, шатаясь по Латинскому кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе, — встретились, поговорили, расцеловались, на прощание Сашка дал ему свою роскошную, с золотым обреза визитную карточку, но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. И, как казалось Ашоту, им обоим. Разговора по душам не получилось.

Встречаясь с приезжими москвичами и ленинградцами, Ашот давно уловил некую общую для всех (за очень малым исключением) черту — тары-бары о том о сем, как будто виделись совсем недавно, как будто не разделяет их никакой железный занавес, никакая берлинская стена, минимум вопросов — как ты, что ты, с чего живешь? В каждом слове

осторожность, боязнь коснуться чего-то серьезного. Один Роман ничего не боялся да на все плевавший Тюлька, рвавшийся на порнофильмы.

Но то москвичи, ленинградцы — у них за спиной любимая родина, а в соседнем номере родной стукач, — но вот и Сашка оказался таким же. Или почти таким же. Ему, правда, нечего было бояться, он не озирался и никакой занавес или стена их не разделяли, но он тоже избегал главного. Встреча друзей, которые давно не виделись, вот и все...

Роман, тот поминутно, впрочем, часто отвлекаясь в сторону, интересовался и работой Ашота, и сколько ему платят, и можно ли на это прожить, одним словом, ему небезразлична была жизнь друга, и его жены, и его матери — ну, как наша старушка, не скучает по своей коммуналке? А Сашка? Сашка все больше об Америке, американцах, которые вроде и хорошие ребята, простые, приветливые, но все у них во круг денег, собственного бизнеса. А в коллективе, — одно время он чем-то там руководил, — с ними просто трудно, каждый только о себе думает. Непрочь был Сашка вставить и имена. Это, мол, когда мы с Фрэнком Синатрой на одном приеме встретились, а это после того как с Ричардом Бартоном выпивали, вкалывает старик, дай Бог, а вот Брандо, Марлон Брандо, совсем не пьет, завязал. К слову вставлялось и про прием в Белом доме, и про уик-энд на вилле у Лиз Тейлор, располнела старуха, килограммов сто, не меньше. С русскими почти не встречался, так, два-три наиболее известных, газет их тоже не читал, Брайтон Бич, Одессу на море, как прозвали это скопище одесситов, старательно обходил.

Сашке хотелось веселого, неутомительного трепа, забавных рассказов, анекдотов. Какие, кстати, Ромка из Москвы привез? Теперь все про чукчей, Василия Ивановича вовсе забыли. О самом Ромке тоже расспрашивал — говорят, режиссером стал, интересно, интересно, — но ответы слушал рассеянно и все порывался то к „Максиму”, то в „Распутин”. „Ну, что мы все по забегаловкам? Давай покажем им, парижанам, наши русские загибоны. Деньги-то есть”.

Крайне был удивлен, что ни в одном из них Ашот никогда не был.

Нет, разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал Ашот. Не сели они в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: „Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик? Вот и драпанули мы с тобой, ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране, ты в той, я в этой. И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт...” И стали бы вспоминать прошлое — а помнишь, а помнишь? Это, впрочем, было — для Ашота с болью оторванное, эх, молодость, беззаботность! — для Сашки же что-то, может, и уютное, но такое далекое, полузабытое. Тут же с невьских набережных перескакивал на „знаешь ли, недавно праздновали столетний юбилей Бруклинского моста, выдали невиданный фейерверк, почище вашего, версальского...”

И ни разу, за все двенадцать часов, не задал Сашка такого естественного, такого естественного, такого само собою напрашивающегося вопроса — не нужны ли тебе деньги, Ашотик, хватает ли на жизнь?

Нет, Ашот не обиделся, не затаил ничего, при прощании у обоих навернулись слезы на глаза, но, когда вернулся домой, почему-то протрезвевший, молча плюхнулся на диван.

Анриетт спросила: „Ну как?”

— Грустно, лапонька... Очень грустно.

ЭПИЛОГ

Больше они не встречались, наши мушкетеры. И не переписываются, не звонят друг другу... Почему? Бог его знает, почему. То ли текучка заела — есть у нас такое выражение, то ли...

Фильм Романа не без успеха прошел по стране, но на очередном пленуме был все же раскритикован. Тем самым Кулиджановым, председателем Союза киношников, которого Роман считал „неплохим парнем”. Впрочем, он таким и был,

отнюдь не злобным, и перед своим выступлением взял Романа под локоток и сказал:

— Критикну тебя, что поделаешь. Там велели (он ткнул пальцем в потолок). Мне же фильм нравится, без дураков, и народу тоже, а на высокую трибуну, на которую я сейчас поднимусь, плюй. Признания ошибок от тебя сейчас никто не требует. Это главное. Давай заявку на новую картину. Поддержим.

Правда, поднявшись тут же на трибуну, на которую только что советовал плевать, он, как всегда устало, даже сонно, сказал, что зритель не принял картины Романа Крымова, и талантливому режиссеру надо крепко об этом подумать. Этим и занялся Роман после выступления Кулиджанова, соображая, куда лучше пойти с друзьями, оператором и вторым режиссером — в ВТО или Дом Литератора? Заявку на новую картину пока не подал, ищет сценариста.

По возвращении из Парижа было еще две-три неприятных минуты. Пригласили в гостиницу „Москва” на некое собеседование. Два типа с каменными лицами интересовались, почему он на два дня раньше уехал с фестиваля? Не встречался ли с диссидентами, с отщепенцами? Кто такой этот Никогосян, с которым он общался? Угрожать не угрожали, но дали понять, что вел себя он за рубежом не совсем так, как положено советскому гражданину... Господи, как портит кровь вся эта мура. Сидишь, как идиот, в этом специальном, для собеседований, гостиничном номере, все время куришь, пальцы дрожат, они это видят... Тьфу! Хорошо Ашотику, никаких у него встреч в гостиницах, кафебешных мурлов, таможенников на границе, проверяющих каждый тюбик с зубной пастой. У двоих из их группы отобрали джинсы, даже футбольный журнал про чемпионат Европы.

А Ашотик, в свою очередь, все еще завидует Роману. Да, говна там много — и того нет, и того нет, и за глотку душат, — но вот, пробил же он картину. В этом, может быть, главное. Силы будто и неравные, а победил, обхитрил, обвел вокруг пальца. И кого? Комитет, самого Ермаша. Ну, как тут не ликовать? А у него, Ашота? Все будто и спокойно, работа

не утомительная и на чтение остается время, но... Нет той остроты жизни, что у Ромки, борьбы, побед...

Правда, в установившейся его жизни, если не в темном, то все же в недостаточно озаренном царстве блеснул было луч света. Сыграл ни больше ни меньше как Сталина в многосерийном американском фильме. Совершенно случайно столкнулся с режиссером, как раз искавшим в Париже кого-нибудь кавказской внешности. После пробы дал ему этот, не ахти какой большой, но запоминающийся эпизод. Судьбы Геловани он не разделил, не стал мелькать из фильма в фильм, но рецензии в американских газетах были хорошие, а в „Тайм“ появилась даже его фотография.

Был и еще один лучик, не очень яркий, но теплящийся до сих пор. В Венеции, куда ездил с телевизионной группой на Биенале, он познакомился с бежавшим из театра Ленинского Комсомола молодым актером. Выпили в какой-то траттории, разговорились. И выяснилось, что оба они более или менее одинаково смотрят на театр. Оба достаточно критически относятся к тому, что происходит сейчас на Западе. Да и Москва, театральная Мекка, тоже не очень-то обоих радовала.

Коля Ветров, живой, остроглазый, неглупый паренек лет двадцати трех, драпанувший совсем недавно, без особого энтузиазма говорил о последних московских премьерах. Молодость безапелляционна, досталось от него и Любимову, и Эфросу, и Ефремову, даже лучшему, на его взгляд, среди всех — Товстоногову, но, в общем-то, его взгляды показались Ашоту близкими. Оба сошлись на том, что с классикой просто беда. Режиссерам обязательно надо найти „своего“ Чехова, „своего“ Гоголя, все хотят быть Мейерхольдами, слова в простоте не скажут. Не пора ли пересмотреть все это? Не искать собственной трактовки „Трех сестер“ или „Гамлета“, а попытаться смотреть на пьесу глазами самого автора. Пиранделло пусть будет Пиранделло, Ионеско — Ионеско, а Чехов останется Чеховым. За него они особенно „болели“. И к концу вечера, превратившегося в ночь, вспыхнула вдруг идея поставить „Душечку“, любимый рассказ Толстого, который он всем читал вслух. У Коли и актриса

уже на заглавную роль имелась — живет в вашем Париже, русская, молодая, вылитая Душечка.

Венецианская траттория окрещена была „Славянским базаром”, условлено было через месяц встретиться и к тому времени подумать, прикинуть, пошевелить мозгами. Оба друг другу очень понравились.

Из других событий в жизни Ашота произошло еще одно, довольно существенное — Анриетт ждет ребенка. Мечтает о девочке, Ашот — о мальчике, Рануш Акоповна — о любом живом существе. Тайно ото всех покупает распашонки, хотя по русским правилам это не полагается...

Ну, а третий? Сашка?

Только успела погаснуть надпись „Привязать ремни, не курить!”, как Сашка направился в буфет. Летел он на „Конкорде”, самом быстром и комфортабельном самолете в мире — до Нью-Йорка три часа, и любой напиток в счет билета. Взял бутылку коньяка, полистал проспект, рекламирующий разные страны, бриллианты и японские телевизоры в виде ручных часов, потянулся за Распутинским „Прощанием с Матерой”, все так хвалят...

Прощание, прощание... Ашот, ох, уж этот Ашотик, в бороде уже седина, а двадцатилетний рубеж никак не перешагнет, все о Дягилеве... Дягилев, Нижинский! Никак понять не может, Песталоцци наш дорогой, что сегодняшний Нью-Йорк это не Париж начала века... Хорошо ему — отрубил положенные ему часы и на диван с каким-нибудь Авторхановым или Гроссманом. А тут... Не успеешь слезть с самолета, как сразу же принимай решение. Хуже нет. Голливуд? Подписывать или не подписывать контракт с „ХХ век-Фокс”? На того же Нижинского? Ролька небольшая и условия дай Бог, но они же, гады, хотят сделать упор на всякие там поползновения Дягилева, чего он, Сашка, не допустит даже в намеке. Нижинский наша гордость и ни одного пятнышка быть на нем не должно... Ну, а Япония? Ренье, принц Монакский? Все, как всегда, наползает друг на друга...

Поглатывая из бутылки и постепенно озлобляясь, Сашка пытался сообразить, как и где напоить япошку, чтоб перетасить гастролы на октябрь — за это время он как раз отправит Анжелку в Майами, пусть позагорает, — тогда в сентябре он сможет попасть и в Монте-Карло, на фестиваль. Ну, а „Раймонда” в Чикаго? Тоже сентябрь... А может, послать их всех подальше, всех принцев и япошек и...

„Шинель”, „Шинель”! Далась ему эта шинель. Дягилев советского разлива...

И ни с того ни с сего всплыла вдруг откуда-то из глубины ночь на Неве... В тот год она замерзла чуть ли не до дна. Шли откуда-то, с какой-то веселой пьянки, спустились у сфинксов, перлись по льду. А до этого, до пьянки, занесло их почему-то на бондарчуковскую „Войну и мир” — как ни странно, не так уж плохо. Аустерлицы, балы, люстры, может быть, и многовато, но Кторов — старик Болконский и Петя Ростов, совсем молоденький актерик с нехорошей фамилией Ермилов, запомнились, врезались в память.

И вот посреди Невы с небольшой поземочкой Сашка пустился в пляс. Ей-Богу, лучше в своей жизни он не танцевал. За двоих! Александр I на коне, молодой красивый самодержец Всероссийский, и влюбленный, восторженный, потерявший голову Петя. И сразу же последняя ночь, заточка сабли, вжиг-вжиг! — и хор, высокое небо, звезды и гибель — замаhal, замаhal руками и свалился с лошади...

— Сашка, ты гений! — сказал ему тогда Ашот. — Такое станцевать можешь только ты! Все! — и, смеясь, добавил: — Как видишь, сочетание Бондарчука со ста граммами дало прекрасный результат.

— А граф что, ни при чем?

— Граф издевался над балетом.

— Вот и расколос я его пополам... Таки гений!

Сашка вытянул ноги — в „Конкорде” широко, просторно — и стал сквозь иллюминатор разглядывать клубящиеся под ним облака. Солнце заходило, и они были совсем розовые. Петя Ростов, Петя Ростов... Да кому он здесь нужен? Нам, нам! Нам, русским! — неистовствует этот армяшка.

Русским? Вот и Рудольф, и Мишка Барышников, и Годунов тоже русские, а что они... А ты не Нуреев, ты Куницын! Ашот безапелляционен, рубит с плеча. И знает же, негодяй, что умею! Нет, умел, умел загораться... Все в прошлом... А теперь?... „Раймонду” к черту, Бог с ней. Косоглазого завтра же, нет, послезавтра пригласить в „Плаза-отель”, напоить и охмурить. В Монте-Карло телеграмму -- „Буду!”, такое нельзя пропускать... Анжелку в Майами... А маму? Ох, мам, мама, мама, черт знает что... Сегодня же сяду и напишу, длинное, подробное письмо. А то — совсем как в том анекдоте про сержанта, Чайковского, Гоголя и нерадивого бойца Иванова, который за год не удосужился написать письмо матери, хотя все данные для этого, они есть...

Сашка встал и опять пошел в буфет. Они летели уже над Канадой.

У стойки стоял багроволицый американец и сосал обычное их виски-сода. Он долго разглядывал Сашку, пока тот заказывал коньяк, потом спросил:

— Скьюз ми, ар ю Кунитсин?

— Да, а что?

— Вы очень хорошо танцуете, я вас видел по телевидению. В „Дон-Кихоте”.

— А что вы хорошо делаете? Я вас по телевидению не видел.

— Я? — багроволицый несколько растерялся, потом засмеялся. — Деньги! Я бизнесмен.

— И какой бизнес?

— Готовое платье.

— И шинели тоже делаете?

— Какие шинели?

— Для титулярных советников.

— Не понял...

— Дайте телефон. В Нью-Йорке я позвоню. Мне нужно платье для моей девушки, но такое, чтоб Каролин Монакская лопнула от зависти. Можете?

— Но у меня только готовое платье.

— Тогда торгуйте им на Гренаде. Мое почтение.

— А может, угостить вас виски? — осведомился тем не менее бизнесмен.

— Нет, я пью только водку. И только „Московскую”.

— А не коньяк? У вас, вижу, в руках коньяк.

— Это для друзей. А я — только водку. И только „Московскую”.

— Я думаю, тут есть.

Оказалось, что есть, и было заказано два полных „фужера”, как они назывались в России, со льдом.

— И будьте любезны, одним глотком, — сказал Сашка.

— Как так? — удивился бизнесмен.

— А вот так, — и Сашка показал как.

Бизнесмен попытался повторить, поперхнулся и долго кашлял. Когда он откашлялся, Сашка спросил, что он знает о человеке по фамилии Гоголь.

— Это у которого часовой магазин на Сентрал-Стейшен?

— Нет, он мертвыми душами торгует...

— Не понял...

— Ну, тогда возьмем по лобстеру, по-русски они называются омарами, и поговорим о Майкле Джексоне. Вы его поклонник?

В Нью-Йорке они очень мило попрощались. Бизнесмен еле держался на ногах, а Сашка, взяв такси, благополучно добрался до своего „апартаментов” на Пятой авеню, с видом на Сентрал-Парк, и завалился спать. Проспал часов двенадцать, не меньше.

Снилась Каролин Монакская, танцующая танго с Ашотиком, оба в шинелях, под басовые раскаты мужского хора и сабельные вжиг-вжиг-вжиг...

Вот так сложились, вернее, складываются их судьбы, судьбы трех неразлучных и разлучившихся, или разлученных, мушкетеров... Один в Нью-Йорке в шестикомнатной квартире с ониксовой ванной на Пятой авеню и разными там Япониями и Цейлонами... Другой — в Париже в трех комнатах на рю, подумать, Рембрандт возле парка Монсо, и не частые, но все же путешествия на стареньком „Рено-5”

через Пиренеи и Андорру до самого Гибралтара и обратно... Ну, и третий, исподволь готовит новую победу над Ермашом, тайнственно шушукаясь за столиками ВТО и ЦДЛ с поборниками настоящего искусства — опытными сценаристами, которым надоело врать, и молодыми писателями, еще не научившимися этому. Насчет поездок — не дальше Коктебеля, Дубултов и Репино...

Перспективы?

Ах, как хочется подвести какой-то итог. Разобраться в том, кто из этой тройки выиграл, кто проиграл, кому повезло, кто из них, в конце концов, оказался победителем в битве за жизнь, свободу, правду и т. д. Но нет, не мне, бесстрастному летописцу, судить об этом, делать прогнозы. Уклоняюсь. Подождем...

Да, но почему же — естественный вопрос — я позволил все же назвать свою маленькую повесть печальной? Все как будто не так уж плохо — живы, здоровы, работают, собираются даже рожать?

Прочитайте две первые фразы эпилога, и вы поймете. Не переписываются, не звонят...

Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки — началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, пройдено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингульским тропам, донским степям в невеселые дни отступления,

по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить, не то что заходить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это „отвечать не буду”, эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней левой подмышкой: „Поздравляю!” и без обратного адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только вода, только Атлантический океан... Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное,

что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной.

Аминь.

Колюр – Париж, июнь-октябрь, 1984 г.

От издательства. Пока в типографии набирался текст повести, по дошедшим до нас сведениям, в Париже, по адресу рю Рембрандт 15, доставлена была телеграмма следующего содержания: „Срочно вылетай тчк расходы оплачиваются тчк телеграф 998 пятое авеню мне тчк целую жду тчк Сашка”.